

**РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA**

**ОТДЕЛ ВНЕШНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
DEPARTMENT OF EXTERNAL SERVICE**

**191069, РОССИЯ, С.-Петербург, Садовая ул., 18
18, Sadovaya st., St.Petersburg, 191069, RUSSIA**



**начало
start**

ЛАБОРАТОРИЯ ОВО

Заказ № 4456/6

Дата 8/хл-04

Микропленка 1 экз. позитив экз.

Фотопечать по экз. формат

Снимать стр. Все

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Наименование или шифр издания

18. 174. 3. 7.

Исполнитель

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ
Not to be reproduced without permission

ОЧЕРКИ И ЭСКИЗЫ

К. В. Назарьевой.

ЗАЛА 18
ШРАФЪ
ПОЛКА 3
№

1. Сожробище.
2. Драма на морь.
3. Она забыла.
4. Попуститель.
5. Лавровый листикъ.
6. Шины.
7. На судъ публичн.
8. Испытаніе.
9. Севальны.
10. Понялъ.
11. Прощенный день.
12. Звездочка.
13. Сообщникъ.
14. Рецензентъ.
15. Ступевалась.
16. Последняя капля.
17. Пратикъ.
18. Женились.
19. Последняя рукописанія.

порыват

796
/

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ издания въ конторѣ тип. Войничаго и Корнатовога.
9, Малая Морская: 9

1892.

Цѣна 1 р. 50 к.

ПОРЫВЪ.

ПОРЫВЪ.

ЭСКИЗЫ и ОЧЕРКИ

Ю. В. НАЗАРЬЕВОЙ.



ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Войцицкаго и С. Корнатовскаго

9, Малая Морская, 9.

1891

Дозволено Цензурою. С.-Петербургъ, 17 іюля 1891 года.

ПОРЫВЪ.

(ЭСКИЗЪ.)



«**В**ы желали меня видѣть; я пріѣхалъ въ Петербургъ и жду васъ сегодня вечеромъ. *В. Н.*».

Далѣе слѣдовалъ адресъ отеля, гдѣ остановился Новицкій, и болѣе точное опредѣленіе времени для «дѣловаго» свиданія, котораго просила молодая жена, годъ тому назадъ навсегда разставшаяся съ мужемъ.

Полина Андреевна прочла эту короткую записку, доставленную съ посыльнымъ, велѣла сказать ему: «хорошо» и, вернувшись въ свою комнату, долго, долго сидѣла задумавшись, не спуская глазъ съ лоскутка бумаги.

Итакъ, сегодня она, наконецъ, увидится съ мужемъ, и они серьезно, спокойно переговаривать о важномъ вопросѣ, отъ котораго зависитъ ея счастье.

Ея счастье! Даже мысленно Полинѣ неловко и совѣстно повторять это слово. Оно звучитъ какъ насмѣшка, оно оскорбляетъ какъ поцѣлуй

любви надъ гробомъ вчера только угасшаго человека.

Четыре года назадъ, выходя замужъ за Новицкаго, она смѣло мечтала о счастіи, но союзъ, основанный на любви, не оправдалъ дѣвичьихъ надеждъ, и супруги разстались холодными, озлобленными, негодующими другъ на друга.

Они испытали упоеніе страстной любви, они пережили періодъ охлажденія, и въ концѣ-концовъ возненавидѣли одинъ другаго, какъ участники предпріятія, обѣщавшаго громаднаго выгоды, но въ сущности раззорившаго ихъ обоихъ.

— Женившись на тебѣ, я сдѣлалъ колоссальную глупость!

— Я никогда не прощу себѣ, что согласилась быть твоею женою!

Супруги обмѣнялись такими фразами, и считали себя одинаково правыми и одинаково несчастными.

Полина отказалась отъ средствъ мужа и уѣхала въ Петербургъ, а Новицкій продолжалъ служить въ земствѣ, и жилъ въ своемъ имѣніи на Волгѣ. Имѣя незначительный капиталъ, Полина занималась переводами съ итальянскаго языка, зарабатывая рублей 30—40 въ мѣсяцъ.

Хорошенькая женщина съ ярлычкомъ «соломенной вдовы» всегда возбуждаетъ далеко нелестное вниманіе современной молодежи, но Полинѣ никто не нравился, и ее называли «снѣжинкою», «ледышкомъ» и т. д., съ досадою обманываясь въ своихъ ожиданіяхъ.

За послѣднее время среди знакомыхъ Полины появился нѣкто Бариловъ, довольно образованный и симпатичный мужчина, лѣтъ 35, журналистъ по профессіи, откровенно заявлявшій, что ищетъ жену-подругу, жену-сотрудницу, которая помогала бы ему въ работѣ.

— Она дѣлала бы мнѣ нужные переводы; самъ я неважно знаю языки, говорилъ Бариловъ, ну, а я, имѣя хорошія связи, могъ бы устраивать въ редакціи ея переводы. Наконецъ, она могла бы подъ моимъ руководствомъ начать писать повѣстунки, и вдвоемъ мы бы изрядно получали. Писать—не штука. Теперь всѣ пишутъ, а что бы печататься—знакомство необходимо.

Полину заинтересовала оригинальная постановка вопроса о бракѣ, какъ о союзѣ двухъ рабочихъ силъ. Она много бесѣдовала съ Бариловымъ, присматривалась къ нему, и наконецъ, когда Бариловъ сдѣлалъ ей предложеніе,—обѣщала подумать.

— Конечно, подумайте, согласился Бариловъ. На вѣтеръ такихъ дѣлъ не рѣшаютъ.

Полинѣ стало холодно отъ этихъ словъ, но она подумала: «тамъ—была любовь, и все-таки мы были несчастны; здѣсь пожалуй даже больше шансовъ»...

Молодая женщина намѣревалась просить развода и написала мужу, что имъ нужно переговорить о дѣлахъ. Новицкій взялъ отпускъ и пріѣхалъ, торопясь исполнить ея желаніе, и се-

годня, послѣ годичной разлуки, они должны увидаться.

«Какой-то онъ сталъ теперь? — спрашивала себя Полина. Э, навѣрное такой же сухой и холодный, какъ былъ. Развѣ подобные люди мѣняются! Самодовольный, гордый.. Правымъ себя считаетъ!»

II.

Около семи часовъ вечера, какъ было назначено, Полина постучала въ дверь номера, въ которомъ помѣщался Новицкій.

— Войдите! — отвѣчалъ ей знакомый голосъ.

У Полины забилося сердце, и она промедлила нѣсколько секундъ, держась за ручку.

— Да кто же тамъ! Входите, я сказалъ! — съ досадою на медлительность неизвѣстнаго посетителя повторилъ Новицкій, и самъ пошелъ къ дверямъ.

Онъ ожидалъ Полину. Въ теченіе цѣлаго дня онъ приготовлялся къ тягостной встрѣчѣ, и все-таки его словно шатнуло въ сторону, когда передъ нимъ очутилась эта женщина, которую онъ продолжалъ любить.

Ненависть и озлобленіе, явившіяся результатомъ мелочной ежедневной борьбы, давно уже

улеглись. Съ любовью и нѣжностью вспоминалъ онъ Полю, — ту Полю, которая была ему безгранично дорога въ первый годъ брака, но гордость — мужская, специфическая гордость — мѣшала ему вымолвить первое слово примиренія.

А затѣмъ постарались «добрые люди»!.. Возвращаясь изъ Петербурга, они рассказывали про молодую женщину всякія небылицы и растравляли еердце одинокаго мужа, дѣлая существующую пропасть еще глубже.

Но вотъ Полина стоитъ передъ нимъ точно такая, какую онъ помнитъ: худощавая, стройная, съ блѣднымъ лицомъ, съ глубокими темно-сѣрыми глазами, въ которыхъ какъ бы застыло выраженіе вопроса, съ смущенною улыбкою на устахъ; она такъ похожа на свой портретъ, съ которымъ онъ никогда не расстается.

Нарочно или случайно, но Полина надѣла то самое платье, которое ему нравилось. Темно-синее, отдѣланное чернымъ шнуркомъ безъ всякихъ украшеній... А на лѣвой рукѣ Полины сверкнула узкая полоска браслета.

«Неужели это тотъ porte-bonheur, что я ей подарилъ? — мелькнуло въ головѣ Новицкаго. Но тогда, значить, и она тоже... она еще не разлюб...»

— Здравствуйте, Викторъ, начала Полина, не глядя на мужа, и все очарованіе исчезло для Новицкаго.

«Здравствуйте! «Вы» — значить то же самое, что происходило послѣдній мѣсяцъ передъ разлукою,

когда они потеряли способность рассуждать спокойно и, чтобы не выходить изъ рамокъ приличія, обуздывали себя, говоря другъ другу «вы».

— Садитесь, прошу васъ, Полина... Андреевна, мстя еще большею холодностью за свое разочарованіе, отвѣчала Новицкій, и, торопясь окончить тягостное объясненіе, добавилъ: Вы желали меня видѣть — я пріѣхалъ. Скажите, о какихъ дѣлахъ вамъ угодно...

Онъ закурилъ папиросу и бросилъ ее, передвинулъ столъ и зачѣмъ-то тронулъ пуговку звонка, а когда вошелъ слуга, приказалъ подать чай.

— Приборъ или стаканы?

— Да, да, приборъ! Конечно, приборъ! — разсѣянно отвѣчалъ онъ слугѣ, и боязливымъ тономъ, какъ бы опасаясь и въ то же время желая ея отказа, спросилъ жену: — вы не откажетесь выпить чашку чая?

— Да... Съ удовольствіемъ.

Полинѣ было невыразимо тяжело заговорить о разводѣ, и она рада была оттянуть этотъ моментъ.

Еще недавно, размышляя, что Викторъ *долженъ* дать ей свободу, она считала и свое заявленіе и его согласіе самымъ обыкновеннымъ фактомъ, а теперь у нея не хватало смѣлости вымолвить такое, казалось бы, простое слово...

III.

Въ лицѣ мужа Полина замѣчала что-то новое, подкупавшее ее и внушавшее жалость. Она видѣла, что онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ, что глаза его смотрятъ не такъ сурово, какъ прежде... Печать нравственного или физическаго страданія смягчила общій характеръ его фізіономіи, придала ему иной колоритъ.

— Вы... вы были нездоровы? — вырвалось у Полины.

— А, вы слышали! Да, у меня былъ тифъ — холодно отвѣчалъ онъ. Два мѣсяца пролежалъ!

— Гдѣ же? Неужели въ деревнѣ?

Новицкій усмѣхнулся.

— Нашлась добрая душа и свезла меня въ больницу, въ нашу, въ земскую. Я очень благодаренъ Магориной. Это она постаралась.

Магорина! Эта барыня ненавидѣла Полину. Легко представить, какъ она злословила отсутствующую жену, что о ней говорилось...

— Но зачѣмъ же въ больницу? — съ ужасомъ прошептала Полина. Неужели нельзя было въ городѣ? На своей квартирѣ?

— Тамъ уходъ чудесный; сидѣлки есть, а дома...

Онъ не договорилъ, что дома — одиночество, что самыя стѣны опустѣвшаго жилища стали ему.

ненавистны, но Полина поняла его безмолвный укоръ и поникла головою.

Когда-то они клялись другъ другу во взаимной любви и заботѣ, а вотъ онъ, одинокій, боролся со смертью, и ея не было возлѣ него!

Ей было стыдно, какъ воину, убѣжавшему съ поля брани, какъ измѣнницѣ. По уму—она была права. Разлюбила, ушла... и кончено. Но сегодня, какъ нарочно, умъ бездѣйствовалъ, а по логикѣ сердца такая вина виновата. «Скорѣе надо покончить дѣловой разговоръ и уйти; тяжело мнѣ здѣсь», рѣшила она; но... и разговора не начинала, и не уходила.

Лакей принесъ чайный приборъ, самоваръ, печенье и т. д. Пока онъ входилъ и выходилъ, Новицкій началъ рассказывать о деревенскихъ новостяхъ, о тѣхъ людяхъ, которыхъ она знала, которые нѣкогда составляли частицу ихъ общей жизни.

Полина заинтересовалась, стала спрашивать, вспоминать нѣкоторые эпизоды, и взаимная неловкость мало-по-малу исчезала.

Раза два-три, торопясь что-то сообщить другъ другу, они обмолвились, сказали «ты» вмѣсто «вы», и смутились, какъ школьники.

Прозрачный сумракъ майскаго вечера началъ чуть-чуть сгущаться, но Новицкій забывалъ, что нужно зажечь огонь и угостить Полину чаемъ.

Онъ такъ давно, давно не говорилъ съ нею. Такъ давно не передавалъ ей послѣдовательное

теченіе всякихъ дѣлъ, предпріятій, столкновеній, словомъ—не дѣлился съ нею, какъ онъ привыкъ дѣлиться ежедневно въ прежнее доброе время.

IV.

— **А**хъ, что же чай! Я совсѣмъ забылъ. Можно налить?

— Пожалуйста!

Неловко, но съ исключительнымъ усердіемъ началъ хозяйничать Новицкій. Онъ сполоснулъ стаканъ и чашку, нарѣзалъ лимонъ, булку, и безмолвно, какъ человекъ, которому нужно сосредоточить все вниманіе, чтобы не ошибиться, исполнялъ непривычное для него и чуждое, бабье дѣло.

Полина глядѣла на мужа, вспоминая такіе же вечера во время ихъ супружеской жизни, и ей дѣлалось невыразимо горько.

Все, чѣмъ она не дорожила прежде, что казалось принадлежащимъ по праву и потому не цѣннымъ, чему, избалованная любовью, она не придавала значенія, требуя все большаго и большаго, отъ чего она отказалась съ безсердечною отвагою молодой природы,—все это казалось теперь такимъ дорогимъ и желаннымъ...

Вотъ Викторъ подаетъ ей чашку чая... Онъ вспомнилъ, что она любитъ крѣпкій, безъ сахару, съ малиновымъ вареньемъ... Ея взоръ скользнулъ по столу. Да, тамъ стоитъ вазочка съ вареньемъ, *съ малиновымъ вареньемъ*, и печенье, именно «Альберты», отъ Эйнема. Значить, еще до ея прихода онъ думалъ о ней, желалъ угодить ей, значить...

Новицкій замѣтилъ ея взглядъ, и съ равнодушнымъ выраженіемъ лица, хотя голосъ его дрожить и прерывается, произноситъ:

— Варенья, пожалуйста! Тутъ булки, печенье. Кажется, кушаете?...

Нѣтъ, она больше не можетъ оставаться здѣсь... Полина быстро встала, взяла шляпку, лежавшую возлѣ, и бросилась къ дверямъ.

Новицкій оторопѣлъ и едва не выронилъ стакана. Онъ ринулся вслѣдъ за Полиною и увидѣлъ, что она стоитъ въ темномъ углу корридора, прижавшись къ стѣнѣ, и беззвучно рыдаетъ.

Теперь ему все стало ясно: «Поняла его муку, пожалѣла!»

— Дорогая, милая, вернись! Зачѣмъ уходить, зачѣмъ портить жизнь, когда у насъ такъ много общаго!—говорилъ Новицкій, когда Полина, сдавшись на его мольбы, возвратилась въ комнату и сидѣла на стулѣ, возлѣ самыхъ дверей, не снимая шляпки и опустивъ голову, какъ виноватая.

— Прежде я винилъ тебя, Поля; теперь не виню, честное слово, нѣтъ!—продолжалъ Новиц-

кій такимъ взволнованнымъ, молящимъ тономъ, какъ будто въ рукахъ Полины была его жизнь и отъ ея слова зависѣло все будущее. Мы были оба виноваты. Мы не берегли, не лелѣяли нашей любви. Во имя нея мы относились другъ къ другу съ невозможною требовательностью; мы позволяли себѣ и рѣзкія выходки, и халатность, и пренебреженіе, какъ будто любовь—ширмы, за которыми позволительна нравственная неряшливость! И помнишь, Поля... въ гостяхъ, на глазахъ общества, мы восхищались другъ другомъ, но, очутившись наединѣ, опять начинали пикироваться, или пережевывать мелочныя дразги. Послѣ пышнаго цвѣтка является плодъ, послѣ упоенія страсти должна остаться нравственная близость и крѣпкая, честная дружба. И она осталась, Поля, осталась. Вѣрь, дорогая, что я люблю тебя еще больше чѣмъ прежде, глубже и лучше. Теперь мое чувство къ тебѣ не эгоистично. Я понялъ, чего я лишился, только разставшись съ тобою, и все ждалъ, ждалъ... Я вѣрилъ, что наша разлука не можетъ продолжаться вѣчно, и вотъ... ты опять со мною, моя желанная.

Нотка горделивой надежды, почти торжества, прозвучала въ голосѣ Новицкаго и Полина, очарованная рѣчью мужа, вдругъ очнулась.

Вѣдь она пришла говорить съ нимъ о разводѣ; она почти дала слово Бариллову; она всегда утверждала въ разговорѣ со знакомыми, что никогда не примирится съ мужемъ, что они раз-

стались навсегда... Она даже намекала своимъ друзьямъ, что мужъ серьезно и глубоко оскорбилъ ее; что вернуться къ нему—значить поступиться женскимъ достоинствомъ; словомъ—рисовалась, повторяя фразы, которымъ сама не вѣрила, потому что для разрыва, въ сущности, не было основательныхъ причинъ.

Но какъ отказаться отъ всего, что она говорила? Какъ вынести ничтожныя, но обидныя для самолюбія шуточки пріятельницъ, которыя станутъ поддразнивать, высказывая, что у нея не хватаетъ самостоятельности, или,—что еще хуже—будутъ думать, будто она захотѣла даровыхъ хлѣбовъ и ей уже надоѣло трудиться?..

— Нѣтъ, Викторъ. Нѣтъ! Я не могу. Я не вернусь къ тебѣ... къ вамъ. Это невозможно!

— Невозможно!—блѣднѣя повторилъ Новицкій, понимая только одну причину, въ силу которой имъ нельзя сойтись вновь. Невозможно?! Поля, умоляю, скажи мнѣ правду, ты... ты любишь кого-нибудь?

Полина колебалась отвѣтить.

Ей стоило только сказать: «да, люблю», и все будетъ кончено. Викторъ не позволитъ себѣ ни просить, ни требовать, ни угрожать; онъ посмотритъ на нее и... больше ничего, но вотъ этого взгляда она перенести не въ силахъ!

— Ты не отвѣчаешь мнѣ, Поля?—тихо вымолвилъ Новицкій. Я не стою твоей откровенности? Да, если ты любишь другого, то... да, да,

я понимаю. Ну, что же дѣлать... Повѣрь, я не стану мѣшать твоему счастью...

— Моему счастью? Ахъ, перестань! Перестань! Не говори такъ! Никого я не люблю, никого... Я тебя... только тебя!

И, рыдая, она упала на грудь мужа. Полу-словами, полу-вздохами, среди слезъ и поцѣлуевъ, все было высказано и понято.

Порывъ разлучилъ ихъ, порывъ и соединилъ; но оба они вѣрили, что теперь уже ни обстоятельства, ни личная легкомысленность, ни людскіе толки не разрушатъ ихъ союза, освященнаго страданіемъ.

Когда слуга вновь подалъ кипящій самоваръ и Полина начала хозяйничать, Новицкій глядѣлъ на нее съ обожаніемъ, и выразительные глаза его какъ бы говорили: «какъ я счастливъ, что ты вернулась!»

Такъ Полина и не сказала мужу, зачѣмъ, для какого важнаго и дѣловаго объясненія вызвала она его, да Новицкій и не допытывался...

СОКРОВИЩЕ.

(ЭСКИЗЪ СЪ НАТУРЫ.)



Ты мое сокровище, ты мое счастье»!—твердила молодая мать, цѣлуя своего сына, когда онъ только что родился. «Ты мое сокровище, ты радость моей жизни»—повторяла она чуть не ежедневно, любуясь, какъ растетъ и крѣпнеть ея мальчикъ, какъ развивается онъ, не взирая на самыя неблагопріятныя обстоятельства.

А жить было не легко.

Одинокая молодая женщина съ ребенкомъ на рукахъ работала дни и ночи, чтобы прокормить своего Васю, обуть, одѣть его и доставить тѣ маленькія радости, которыя скрашиваютъ существованіе.

Аннѣ Петровнѣ было только тридцать пять лѣтъ, но ей казалось, что она живетъ цѣлый вѣкъ—такое сильное утомленіе ощущала она и въ нравственномъ, и въ физическомъ отношеніи.

Сначала Анна Петровна перебывалась уроками, а затѣмъ, выучившись стенографіи, начала

записывать судебные отчеты или работала «по часамъ» у различныхъ писателей и переводчиковъ, получая скудную плату.

Она возвращалась домой, въ свою крошечную комнатку, брала Васю, находившагося на попеченіи квартирной хозяйки во время ея отсутствія, кормила его обѣдомъ, приготовленнымъ на бензинкѣ, цѣловала, ласкала и лелѣяла обрадованнаго ребенка, а потомъ, усадивъ его за игрушки или за книгу съ картинками, начинала переписывать груды стенограммъ.

Работа кипѣла, но и усталость давала себя чувствовать.

— Мама, мнѣ скучно! Мама, поиграй со мною! — просилъ Вася, ласкаясь къ матери и умильно смотря на нее своими милыми сѣрыми глазенками.

— Нельзя, дѣточка... нельзя, родной мой. Видишь, у меня спѣшная работа. Надо окончить ее. Если принесу завтра утромъ — обѣщали отдать деньги... Поиграй одинъ... возьми кубики, домикъ строй. А завтра я куплю тебѣ новую игрушку...

На ряду съ самыми первыми понятіями Вася звалъ, что значитъ «спѣшная работа», и видѣлъ прямую зависимость новой игрушки отъ маминаго писанья.

Иногда Аннѣ Петровнѣ становилось до слезъ жаль Васю, и она оставляла перо, чтобы поиграть съ малюткой, рассказать ему сказку или прочесть что-нибудь.

Мальчуганъ былъ въ восторгѣ.

Его звонкій, серебристый смѣхъ оглашалъ комнату, и счастливая мать вторила ему, а ночью, когда Вася крѣпко спалъ, разметавшись въ своей постелькѣ, она до разсвѣта сидѣла надъ письменнымъ столомъ, наверстывая потерянное время.

Стенографическая работа скучна и однообразна. Она не даетъ пищи ни для ума, ни для сердца, и, машинально исписывая страницу за страницей, Анна Петровна размышляла о будущемъ своего сына.

Личной жизни для нея не существовало.

Она похоронила свои мечты и надежды, разставшись съ человѣкомъ, котораго любила больше всего на свѣтѣ, и, поставивъ крестъ надъ прошлымъ, всецѣло отдалась исполненію нравственнаго долга.

«Только-бы Вася мой сдѣлался «человѣкомъ»... только-бы онъ былъ счастливъ и не испытывалъ никакихъ лишеній» — таково было страстное желаніе Анны Петровны и во имя достиженія его она работала съ поразительной энергіей.

II.

Въ трудѣ и заботахъ, согрѣтая любовью къ Васѣ, Данковская (такъ звали Анну Петровну) не замѣчала, какъ летитъ время.

Задумчивый, не по годам серьезный мальчикъ, развивался поразительно быстро и подъ часъ удивлялъ мать своими вопросами, обличавшими практическую смѣтку и недѣтскую сообразительность.

— Какой славный этотъ докторъ, какъ-то разъ замѣтила Данковская, возвратившись домой и пересчитывая полученные деньги. Я принесла ему работу, и онъ сейчасъ-же заплатилъ мнѣ... Даже считать не сталъ буквъ! Спрашиваетъ: сколько? Я сказала—онъ и отдалъ.

— А сколько ты получила, мама?

Данковская назвала цифру и добавила:

— За пять листовъ съ половиной слѣдовало, но я взяла ровно за пять.

— Отчего-же ты не сказала, что тамъ шесть листовъ? Вѣдь онъ не считалъ!

Данковская съ изумленіемъ взглянула на сына, но, вспомнивъ, что ему всего восемь лѣтъ, объяснила, что такой поступокъ былъ-бы нечестнымъ.

— Тебя постоянно обчитываютъ, мама... ты сама говорила... И ты должна то-же дѣлать. Тебѣ деньги нужныѣ, чѣмъ имъ... Они—богатые!

Стараясь примѣниться къ дѣтскому міровоззрѣнію, Данковская съ горячностью говорила о честности и нравственномъ долгѣ, но маленькій Вася или не понималъ рѣчей матери, или думалъ свою думу...

Когда Вася поступилъ въ гимназію и Данковская увидѣла свое «сокровище» въ новень-

комъ мундирѣ съ блестящими пуговицами, она радовалась какъ ребенокъ и любовалась хорошенькимъ мальчикомъ.

«Теперь Вася *на дорогѣ*,—думала она. Плата за ученье, книги, одежда, все будетъ. Я могу работать еще больше... Вася—способный мальчикъ и не станетъ лѣниться. И не замѣтимъ, какъ пройдетъ восемь лѣтъ, а тамъ, Вася сдѣлается студентомъ... человекъ. На свои ноги встанетъ»...

И дѣйствительно, Вася учился прилежно и хорошо, но Данковскую удивлялъ и беспокоилъ сосредоточенный характеръ сына. Приготовивъ уроки, мальчикъ садился въ уголъ комнаты и, не спуская глазъ съ матери, проводилъ цѣлые часы въ нѣмомъ созерцаніи.

Теперь онъ не просилъ, какъ прежде: «мама, поиграй со мною, мнѣ скучно», но Данковская чутьемъ угадывала, что мальчикъ тоскуетъ...

— Мамочка, дорогая... какъ-то вырвалось у него,—когда ты наконецъ перестанешь работать?

Она не поняла тайнаго смысла его вопроса и отвѣчала, не отрываясь отъ переписки:

— Ты вѣрно чаю хочешь, Вася? Сейчасъ, дружокъ... Вотъ окончу эту страничку и можно будетъ самоваръ подавать...

— Нѣтъ, я не про то, мама! Неужели-же всегда, всегда, день изо-дня, ты будешь такъ терзаться?

— Полно, милый... Я люблю работу... Наконецъ, надо-же жить...

Глухой вздохъ вырвался изъ груди мальчика.

— Развѣ мы живемъ? — прошептала онъ. Такъ развѣ другіе живутъ? У нихъ есть радости... отдыхъ, а ты ...ты вѣчно согнувшись надъ писаньемъ—и все это только для того, чтобы не умереть съ голода!

Данковской стало жаль Васю. Любящій и бережливый мальчикъ, онъ постоянно сидѣлъ дома, никогда не посѣщая товарищей и никого не приглашая къ себѣ. Онъ даже гулялъ очень рѣдко и точно сторонился отъ людей.

— О, Вася, ты не знаешь... другіе нуждаются больше, чѣмъ мы... У насъ теплая квартира, сытный обѣдъ, крѣпкая одежда...

Анна Петровна говорила съ гордостью. Она была такъ счастлива, что могла доставить сыну все необходимое, а въ его юной головкѣ уже просыпались практическіе вопросы: почему другимъ живется лучше, чѣмъ имъ?

Вопросы товарищей: «кто твой отецъ»? навѣли Васю на размышленія, которыя раньше не приходили ему въ голову. Любовь, забота и попеченія матери были такъ полны, что онъ не ощущалъ ни малѣйшаго лишения, но безучастное любопытство постороннихъ произвело извѣстный толчекъ, и Вася улучилъ наконецъ минуту, чтобы спросить мать...

Это случилось въ ясный и теплый майскій

вечеръ, когда Данковская и ея сынъ сидѣли у окна въ своей маленькой комнаткѣ въ четвертомъ этажѣ многонаселеннаго дома и пили чай.

Бодрящій воздухъ весны врывается въ растворенную форточку и пробуждалъ въ нежившихъ жажду новыхъ впечатлѣній, въ отжившихъ — тихую грусть, похожую на сожалѣніе.

— Мамочка, а гдѣ мой отецъ? Отчего ты никогда, никогда не говоришь о немъ?

Данковская вздрогнула.

Та минута, которой она ждала въ теченіе многихъ лѣтъ, которой боялась какъ преступница возмездія—наступила.

Надо было держать отвѣтъ; надо было раскрывать свою душу передъ сыномъ, юношей, полу-ребенкомъ, до сихъ поръ умѣвшимъ только любить и уважать свою мать...

Какъ, въ какихъ выраженіяхъ объяснить она ему сложную драму, пережитую ею, что она можетъ отвѣтить на его законный вопросъ?

— Твой отецъ давно, давно умеръ, Вася,—тихо проговорила Данковская. Ты былъ еще малюткой шести мѣсяцевъ.

— Онъ здѣсь умеръ, въ Петербургѣ?

— Нѣтъ, Вася, въ Кіевѣ...

Нравственное чутье подсказало мальчику, что спрашивать далѣе не слѣдуетъ, но онъ все чаще и чаще думалъ объ отцѣ и о тѣхъ причинахъ, которыя заставляли маму избѣгать подобнаго разговора.

«Кто не замѣчалъ, что въ «наше просвѣщенное время» дѣти развиваются поразительно быстро?... Положимъ, это развитіе чисто показное, проявляющееся въ скороспѣломъ знаніи отрицательныхъ сторонъ жизни и въ удивительной практичности—но, тѣмъ не менѣе, оно страшитъ родителей, такъ какъ подъ ихъ кровлей, въ тѣсной сферѣ домашняго очага растутъ и мужаеетъ будущій судья ихъ поступковъ.

Строже и взыскательнѣе судей, какъ наши дѣти—трудно придумать. Въ силу вѣковаго протеста, вездѣ и всегда вносимаго молодымъ поколѣніемъ, всѣ наши поступки являются первымъ оселкомъ, на которомъ они изошряютъ свои мыслительныя способности, свое остроуміе. Позднѣе, когда собственныя ошибки сравниваютъ ихъ съ отцами и заставляютъ быть снисходительнѣе, старики уже сойдутъ въ могилу съ горькимъ сознаниемъ, что молодежь не понимала и не оцѣнила ихъ.

Современныя дѣти съ безпощадною логичностью испытаютъ то-же, что испытывали ихъ отцы и дѣды. Колесо жизни будетъ вѣчно кружиться, но каждому поколѣнію кажется, что оно совершаетъ нѣчто новое, ему одному присущее, имъ изобрѣтенное.

Такъ было и съ Васей Данковскимъ.

Онъ видѣлъ неустанную, энергичную работу матери и замѣчалъ, что, не взирая на всѣ усилія труженицы-мамы, она не можетъ побѣдить

нужду, время отъ времени заглядывавшую въ ихъ квартиру, и мужающій юноша лелѣялъ планы, *какъ* нужно дѣйствовать.

«Мама слишкомъ уступчива и робка... Она боится потерять работу и потому готова прошевить... О, этихъ богачей надо въ рукахъ держать... Мы имъ нужны, а не они намъ» — думалъ Вася и иногда высказывалъ матери свои мнѣнія.

Данковская съ тревогой возражала сыну.

Она боялась, что изъ него выработается типъ безпокойнаго протестанта, который, еще не вѣдая жизни и не умѣя составить своего счастья, изъ за принципа становится во враждебный лагерь.

Любящая и нѣжная мать, она заглядывала далеко впередъ и, какъ водится, не замѣчала того, что нарастало, благодаря мелочнымъ, но ежедневнымъ уколамъ самолюбія, лишениамъ и зависти къ ближнему...

То, что Данковская считала естественнымъ результатомъ современнаго порядка—для Васи являлось вопіющею несправедливостью и все чаще и чаще вставалъ для него роковой вопросъ: «за что?»

Въ семьяхъ товарищей—Вася зналъ это по рассказамъ — отецъ былъ силою и опорой для жены и дѣтей. Онъ служилъ или занимался торговлей, дѣлами, уроками—все равно, но вся тяжесть жизни лежала на его плечахъ, и дѣти выросли, не испытывая гнетущей нужды, а тутъ...

Трудно передать, какую нравственную пытку переносилъ блѣдный и худощавый юноша съ задумчивымъ, серьезнымъ взглядомъ.

Годы и темпераментъ брали свое.

Юношѣ хотѣлось купить какую-нибудь бездѣлку, пойти въ театръ, или одѣть новый мундиръ вмѣсто выцвѣтшаго и побѣлѣвшаго по швамъ сюртука—но онъ давилъ въ себѣ это естественное стремленіе, постоянно сознавая, что мама не откажетъ исполнить его прихоть, но безмолвно, съ тою-же кроткою и покорною улыбкой станетъ работать лишній часъ, отнимая его отъ ночнаго отдыха...

Если-бы мать возмущалась и проклинала свою судьбу—Васѣ было-бы легче... Но Данковская смиренно несла крестъ нравственнаго долга, и съ ея блѣдныхъ губъ срывались восклицанія:

— Слава Богу, что есть работа! Вотъ несчастная Иванова безъ работы сидитъ второй мѣсяць.

Да, да, эта работа, медлительно, но вѣрно убивавшая бѣдную женщину—была все-таки счастьемъ, а Данковской завидовали товарки—неудачницы.

Все относительно въ нашей жизни, и то, что мы считаемъ иногда горемъ—является блаженствомъ въ глазахъ другихъ!

III.

Васѣ было шестнадцать лѣтъ, когда онъ перешелъ въ VII классъ гимназіи. Анна Петровна начала дышать свободнѣе.

«Еще два года, а тамъ—мой Вася будетъ студентомъ!»—думала она, и ежедневный тяжелый трудъ дѣлался какъ будто легче.

Такъ измученный поденщиной работникъ ободряется наканунѣ близкаго праздника и не замѣчаетъ своей усталости.

Юноша энергично занимался и имѣлъ небольшой урокъ, отдавая матери свои первыя трудыя деньги.

Но Данковскую не радовалъ заработокъ сына, и она стыдилась принимать жалкіе рубли, приносимыя Васей. Она упрекала себя за невозможность обойтись безъ его помощи и еще нѣжнѣе ухаживала за сыномъ.

Вася вытянулся, похудѣлъ еще больше и сталъ какъ будто задумчивѣе и печальнѣе. Какое-то тайное горе терзало юношу, но онъ не касался его и избѣгалъ вопросовъ матери.

Какъ-то разъ Вася пошелъ прогуляться и вернулся оживленнымъ и веселымъ.

— Какое счастье быть богатымъ!—сказалъ онъ. Сколько пользы можно приносить... сколько добра... Я сейчасъ видѣлъ...

И онъ передалъ матери цѣлую исторію.

Внизу живетъ бѣдное семейство. Отецъ задолжалъ за квартиру, и хозяинъ выселялъ несчастныхъ. Плачь, стоны, крики дѣтей, брань разсвирѣпѣвшихъ лавочниковъ—все слилось въ какой-то гомонъ. Слушать жутко и тяжело, а помочь—нѣтъ возможности.

— И вотъ, мама—продолжалъ Вася съ увлеченіемъ,—въ эту ужасную минуту является какой-то господинъ, тоже нашъ жилецъ, спрашиваетъ, какъ великъ долгъ, и уплачиваетъ его, а кромѣ того даетъ бѣдняку сто рублей. Боже мой, какое счастье! Имѣтъ возможность такъ помочь, поставить людей на ноги!

— О, еще-бы, еще-бы, дружокъ! Но кто-же этотъ господинъ?

— Меня тоже заинтересовало, мама, и я узналъ: Это—Прохоровъ.

— Василій Семеновичъ?

— Да, да; ты его знаешь развѣ? Вотъ чудесный человѣкъ... Онъ, оказывается, массу добра дѣлаетъ.

Анна Петровна поблѣднѣла, какъ смерть.

— Чистое дѣло требуетъ чистыхъ рукъ, говорила она. А этотъ!... Это—взяточникъ, негодай, онъ пустилъ по міру сотни семействъ.

— Но за то онъ теперь помогаетъ ближнимъ!

Волнуясь и слѣша, высказывала Данковская свои завѣтныя идеи. Она говорила объ идеалахъ, о нравственномъ долгѣ и закончила словами:

— Прохоровъ—лицемѣръ. Онъ помогаетъ единицамъ для того, чтобы имѣтъ возможность грабить тысячи несчастныхъ. Да, я знала его... знала его друзей... знала женщину, которая любила его и вѣрила въ него беззавѣтно. Всѣ разошлись съ нимъ... всѣ поняли, что подъ маской сердечности и доброты — скрывался сухой расчетъ...

Вася тихо засмѣялся.

— О, мама, мама, какая ты еще идеалистка—заговорилъ онъ съ искреннимъ сожалѣніемъ.—Что намъ за дѣло, изъ-за чего человѣкъ совершаетъ добро?! Вотъ ты... ты постоянно говоришь о добрѣ, о помощи ближнему — но развѣ мы помогаемъ кому-нибудь? Нѣтъ! И себѣ-то не хватаетъ... Нуждаемся... бѣдствуемъ... Къ чему-же эти фразы, которыя только сердце травятъ? Лучше нажать состояніе, чѣмъ-быто ни было, но нажать, а затѣмъ дать волю сердцу. А такъ — ни себѣ, ни другимъ... Всѣ эти «идеи»,—право-же только слова хорошія... Это любимыя фразы шестидесятыхъ годовъ!

Данковская обомлѣла...

Это говорилъ онъ, ея «сокровище», дитя ея души, вскормленникъ ея идей, питомецъ, въ которомъ она вкладывала свое *я!*...

— Развѣ лучше жить такъ, какъ мы живемъ, продолжалъ современный мудрецъ,—ни себѣ, ни другимъ... Ты говоришь, мама, что Прохоровъ дурной человѣкъ... но... это такъ относительно... Если-бы

ты знала, какой онъ любезный и милый—пре-
лесть! Вѣдь онъ не знакомъ со мною, но раз-
говорился, началъ спрашивать... къ себѣ звалъ
въ гости...

— Тебя? Къ себѣ... въ гости?—едва слышно
вымолвила она...

— Отчего ты удивляешься? Онъ обѣщаль мнѣ
достать хороший урокъ. У него большой кругъ
знакомыхъ... Съ такими людьми слѣдуетъ под-
держивать связи... Онъ можетъ быть намъ очень
полезенъ...

— Вася... Онъ... этотъ господинъ, знаетъ твою
фамилію? Спрашиваль?...

— Спрашиваль, спокойно отвѣчаль юноша.

— Но... и что-же?...

— Какая ты странная, мама... Что-же такое
представляетъ наша фамилія?!... Не графы мы,
не князья... Онъ только спросилъ, не изъ Кіева
ли мы, а я и не знаю, въ сущности... Кстати,
онъ заинтересовался какъ твое имя...

— И ты... ты сказалъ?...

— Развѣ это тайна? Конечно сказалъ...

Вася взглянулъ на часы и всталъ съ кресла.

— Куда ты? почти съ испугомъ спросила она,
чутьемъ угадывая, что Вася идетъ къ Прохоро-
ву, къ тому человѣку, который погубилъ ея не-
опытность, разбилъ вѣру въ людей и, насмѣяв-
шись надъ ея беззащитнымъ чувствомъ, женил-
ся на богатой горбунѣ, сказавъ про Васю самыя

обидныя, никогда не забываемыя слова: «Можетъ
быть это не мой сынъ!».

Одинокая и несчастная женщина глубоко за-
таила свой позоръ, свое отчаяніе и тоску. Она
отдалась всецѣло чувству материнства, она поло-
жила свою жизнь въ этого ребенка, а теперь...
теперь раскаявшійся или лицемерный отецъ за-
хочетъ предъявлять свои права...

— Куда ты, Вася? повторила Данковская, вся
дрожь отъ волненія.

— Ахъ, мама... нельзя-же такъ... Подъ лежа-
чій камень и вода не бѣжитъ... Надо искать лю-
дей и протекціи, а не удаляться отъ нихъ. Ина-
че придется всю жизнь перебиваться съ хлѣба
на квасъ, какъ теперь...

А Данковская-то гордилась, что трудомъ рукъ
своихъ вскормила и вспоила своего сына, дала
ему воспитаніе, образованіе, баловала и холила
какъ могла! Она считала, что свято исполнила
свой долгъ, а онъ, Вася, онъ... тяготился такою
жизнью!

— Посмотри, мама, вотъ лошади Прохорова!...—
заслышавъ по двору стукъ копытъ, воскликнулъ
юноша:—Экая прелесть! Резиновые шины! Онъ
обѣщаль меня прокатить на острова... Я пойду
къ нему...

Анна Петровна выпрямилась во весь ростъ.
Теперь это была уже не мать-работница, поко-
ряющаяся чужимъ капризамъ во имя куска хлѣ-

ба насущнаго; нѣтъ, это была мать, защищающая своего сына отъ того вліянія, которое она считала вреднымъ.

— Нѣтъ, Вася, нѣтъ, ты не пойдешь туда!— рѣшительно вымолвила она.— Тебѣ не мѣсто тамъ, откуда ушла твоя мать, гдѣ ее больно и кровно оскорбили...

И она рассказала ему все, все... свою любовь и поруганную вѣру, свои разочарованія въ дорогомъ и близкомъ существѣ, его паденіе предъ золотымъ кумиромъ, его некрасивыя продѣлки по отношенію къ обществу, его корыстолюбіе, во имя котораго начался первый разладъ, и заключила:

— Теперь Прохоровъ хлопочетъ получить выборное мѣсто, и всѣ его благодѣянія—это особый видъ рекламы... Узкій эгоистъ, онъ любитъ только себя!...

— Ты говоришь, что онъ — мой отецъ?

Данковская молча кивнула головой.

Она ожидала взрыва сожалѣній или слезъ. Она думала, что Вася скажетъ ей желанныя слова: «у меня есть только ты, мама, и больше мнѣ никого не надо!» Но юноша молчалъ.

Прошло нѣсколько мгновеній, долгихъ, какъ дни заточенія.

— Если это такъ, если онъ такой эгоистъ, то надо пользоваться удобною минутой...—заговорилъ Вася.—Я сейчасъ пойду къ нему... То-

то онъ намекалъ, что онъ одинокъ... что у него нѣтъ дѣтей... Можетъ быть, онъ меня вознаграждаетъ за все...

Анна Петровна зарыдала.

«Сокровище» не умѣло понять страданій матери и, какъ истый сынъ вѣка, Вася спѣшилъ извлечь пользу изъ обстоятельства, сдѣлавшагося ему извѣстнымъ...

«Теперь мама недовольна, а потомъ сама станетъ благодарить,—думалъ юный практикъ.—Прохоровъ долженъ помочь мнѣ... Ну, мама не хочетъ—это ея дѣло, а я... я имѣю право требовать!»

Но до требованій—исторія не дошла.

Прохоровъ почувствовалъ «родича по духу» въ этомъ практическомъ юнцѣ и съ искренней готовностью помогъ Васѣ.

Отецъ не называлъ его своимъ сыномъ, и юноша не показывалъ вида, что ему извѣстно прошлое. Они обманывали другъ друга и находили такое положеніе крайне удобнымъ...

— Что мнѣ за дѣло до его поступковъ и убѣжденій, мама—говорилъ юноша.—Онъ нуженъ мнѣ пока—вотъ и все. Нельзя-же требовать, чтобы всѣ были на одинъ манеръ! Мнѣ надоѣло нуждаться, а Прохорову ничего не стоитъ бросить шестьсотъ рублей въ годъ на мою стипендію...

Данковская молчала, поникнувъ головой, да и что могла-бы она отвѣтить на разумно-практическія разсужденія сына.

Житейская правда была на его сторонѣ, а нравственная... Э, да кому-же есть охота въ наше время обращать вниманіе на такія сентиментальности?!



ДРАМА НА МОРЪ.



I.

Стояла темная, бурная ночь.

Грозовыя тучи низко нависли надъ бушующею поверхностью моря и съ каждымъ порывомъ вѣтра все выше и выше вздымались разъяренныя волны, бѣлымъ кружевомъ раскидываясь у подножья угрюмой скалы.

Небольшое судно (подъ громкимъ названіемъ «Герой»), какъ жалкая щепка носилось по морю, то поднимаясь на гребнѣ волнѣ, то исчезая среди бѣшенно kloкотавшихъ волнѣ.

Капитанъ судна, худощавый, мускулистый блондинъ, стоялъ возлѣ рулевого и, не взирая на тьму южной ночи, силился разглядѣть въ подзорную трубу: не видать-ли маяка.

— Вправо надо быть...тамъ огонекъ показался!... сказалъ рулевой.

— Молчать! Развѣ тебя спрашиваютъ?!—гаркнулъ капитанъ, со злобою взглянувъ на дерз-

каго.— Дѣлай свое дѣло и не разсуждай! Или опять тумака захотѣлъ!

Сверкнула молнія и на мгновенье озарила лица двухъ людей, стоящихъ другъ передъ другомъ. Оба они, и капитанъ, и рулевой—были мрачны и суровы. Они понимали грозящую опасность и съ ужасомъ глядѣли на растущія волны, готовые поглотить убогое судно. Желаніе спасти себя и «Героя», довѣреннаго ихъ искусству, являлось обоюднымъ, но каждый по своему рѣшалъ вопросъ, что дѣлать...

Рулевой, Малявка, только недавно поступилъ на судно и недружелюбно относился къ нѣмцу капитану, отличавшемуся злобнымъ и придиричвымъ характеромъ. За нѣсколько дней морскаго плаванья эта взаимная подозрительность успѣла превратиться въ открытую ненависть и Малявка слышалъ, какъ капитанъ, распивая пиво, похвалялся своею безконтрольною властью на суднѣ.

— Мнѣ довѣренъ «Герой», говорилъ онъ своему помощнику, вялому и лѣнивому чухонцу,— я взялся доставить грузъ, мнѣ и отвѣчать придется. Что вы понимаете, русскіе дураки... олухи... болваны! Ваше дѣло покоряться и не разсуждать. Захочу—могу любого изъ васъ на палубѣ вздернуть!

Къ концу осенняго дня, когда начинало смеркаться, капитанъ назначилъ дежурить помощника, а самъ, съ грошевой сигарой въ зубахъ, пилъ пиво и, расхаживая по палубѣ, придирился ко

всѣмъ служащимъ, издѣвался надъ ними и всячески унижалъ. Малявка молча слушалъ нѣмецкую брань, но когда капитанъ, искажая русскія слова, начиналъ щеголять знаніемъ вульгарной рѣчи, суровый хохоль опускалъ голову и старался не слышать этого назойливо-крикливаго голоса, не видѣть этого нахальнаго, раскраснѣвшагося отъ хмѣля лица.

Мучительная и доселѣ невѣдомая злоба закипала въ его душѣ.

Онъ проклиналъ свою рѣшимость вступить въ команду «Героя» и съ особенною нѣжностью вспоминалъ старуху-мать, оставленную на родинѣ, въ бѣлой мазанкѣ, среди гущи черешневаго сада, привольно раскинувшася по крутому берегу рѣки.

«Э, лучше-бы мнѣ не уходить изъ своей хаты!» думалъ бѣдняга. «Лучше-бы не зариться на хорошія заработокъ... Какъ уговаривалъ, какъ ластился нѣмецъ проклятый, а теперь: чумакъ да дуракъ—другого и не видишь! Уйду я... сбѣгу, коли не отпустятъ. Нехай имъ... Дальше отъ грѣха, лучше!»

Но бѣжать Малявкѣ не удалось. Его поймали, обвинили въ кражѣ каната и, пользуясь правами сильнаго, подвергли жестокому оскорбительному наказанію.

Хохоль не вынесъ позора. Онъ дрожалъ отъ негодованія, когда простые матросы, стремясь угодить капитану, называли его «воромъ», «лѣнтяемъ» и грубо издѣвались надъ нимъ. Сознывая себя правымъ, онъ пожаловался «Карлушкѣ»

(какъ мысленно называлъ капитана), но Вейманъ уже находился во хмѣлю.

— Ахъ, ты, животное!!—крикнулъ капитанъ. Ахъ, ты хохлацкая скотина! Порки захотѣлъ? Можно! Эй, Иванъ! Отпустить Малявкѣ полсотни горячихъ. Самъ приду смотрѣть...

Однако наказаніе не состоялось.

Во время обѣда что-то шлепнулось съ судна, и дежурный крикнулъ:

— Малявка въ воду бросился! Спасайте! Скорѣй!

Струсилъ капитанъ, оробѣли его вѣрные сподвижники... Забава грозила превратиться въ уголовщину и надо было положить ей конецъ.

Малявку вытащили общими усиліями, откачали и отогрѣли виномъ.

— Ну, глупый хохоль, зашѣлъ смерть? Ненато! Я тебѣ училъ добру... Всѣ ви дураки... васъ нато бить. Ну, отдохни... Пей пиво... спи... говорилъ Вейманъ, начиная заискивать въ Малявкѣ.

Хохоль промолчалъ, хотя въ душѣ его кипѣла злоба. Онъ отвернулся къ стѣнѣ, и съ безсильнымъ бѣшенствомъ сжимая кулаки, думалъ мрачную, грозную думу.

Послѣ неудачнаго покушенія Малявки прошло дня два и прежній порядокъ возстановился. Капитанъ и его сподвижники снова начали издѣваться надъ неуклюжимъ и молчаливымъ

хохломъ, стараясь побольше уязвить его, обидѣть, оскорбить.

Ему не давали положенной чарки вина, лишали горячей пищи, забывали во время смѣнить съ дежурства... Ему бросали жалкіе обѣдки, какъ негодному псу, его называли «окааннымъ», «нехристомъ», даже «поганимъ» за то, что онъ покусился на свою жизнь... Малявка молчалъ.

Такое поведеніе хохла раздражало окружающихъ.

Грубые люди, лишеныя привычнаго разгула, они искали развлеченія. На морѣ стояло затишье; солнце жгло и палило; желанный конецъ плаванья былъ еще такъ далекъ, и вотъ жажда новыхъ ощущеній дѣлала матросовъ жестокими.

Кому не случалось наблюдать, на какія возмутительныя продѣлки способенъ нашъ мастеровой въ яркой, солнечный лѣтній день? Кто не видѣлъ терзанія кошекъ, собакъ или крысъ среди одобрительныхъ восклицаній и смѣха праздно толпы? Кто не знаетъ, что даже сѣверянинъ, нашъ вялый, блѣднолицый, малокровный сѣверянинъ, способенъ на жестокую потѣху такъ, просто отъ скуки, отъ какихъ-то смутныхъ желаній, просыпающихся въ его душѣ и не находящихъ удовлетворенія...

А здѣсь, на углу «Героѣ», съ грузомъ куля, собрались разнородные типы. Ихъ соединила нужда, сроднилъ деспотизмъ капитана, а скука и лѣнь сдѣлали злыми и грубыми.

Точно повинуюсь обѣту, Малявка продолжалъ упорно молчать. Онъ аккуратно исполнялъ свою обязанность, стараясь не заслуживать законнаго порицанія. Что-бы ему ни приказывали—онъ повиновался безмолвно и быстро. Каждый на его мѣстѣ услыхалъ бы похвалу, одобрение, но Малявку ругали, поносили и обижали.

Наступила бурная ночь, съ которой начинается нашъ правдивый разсказъ.

Страхъ крушенія становился всеобщимъ и вопросъ: гдѣ маякъ? занималъ всю команду. Только Малявка, стоя на рулѣ, видѣлъ далекій огонекъ, но онъ сознательно наслаждался общимъ волненіемъ.

Эта ничтожная, въ сущности, мечь доставляла ему сладостныя ощущенія.

Прошло нѣсколько часовъ. Вѣтеръ крѣпчалъ и волны росли съ чудовищной силой. Капитанъ приближался къ рулевому и, вглядываясь во тьму южной ночи, бормоталъ проклятья. Гдѣ-то, невдалекѣ, находилось «неладное» мѣсто и Вейнманъ опасался аварии.

Случайно взглянувъ на капитана, Малявка замѣтилъ, что на его пальцѣ сверкаетъ обручальное кольцо. Онъ вспомнилъ, что Вейнманъ женатъ, вспомнилъ слезы бѣдной молодой женщины, нѣжно прощавшейся съ мужемъ, и въ душѣ его шевельнулось доброе чувство.

— Маякъ направо!—отрывисто произнесъ онъ. Надо взять правѣй!

Капитанъ разразился грубыми ругательствами и съ сжатыми кулаками бросился на Малявку. Хохоль уклонился отъ удара, тяжело наваливаясь на руль.

Въ первое мгновеніе Вейнманъ оцѣпенѣлъ отъ удивленія и ярости.

— Логиновъ! Смѣни рулевого!—глухимъ тономъ скомандовалъ онъ, секунду спустя.—Малявка, за мною!... Я тебя самъ накажу! Самъ! Логиновъ, держи влѣво! Мерзавецъ! Погубить судно хотѣлъ!.. Я тебя погублю... хлыстомъ!..

Ослушаться капитана—значило подвергать себя смерти.

Вейнманъ имѣлъ законное право собственноручно убить дерзкаго. Бурная ночь и опасность, грозящая судну—все увеличивало бы виновность Малявки.

Хохоль опустилъ голову и, передавъ управление рулемъ Логинову, послѣдовалъ за капитаномъ.

На палубѣ никого не было. Вся команда находилась внизу, гдѣ открылась течь. Помощникъ капитана находился тамъ-же и его зычный голосъ сливался съ воемъ вѣтра, съ плескомъ волнъ, шумливо перекатывавшихся черезъ судно.

Блеснула ослѣпительная молнія.

Вейнманъ остановился возлѣ крошечной клѣтшки, находившейся улѣстницы. Тамъ—Малявка это зналъ навѣрное—хранились орудія наказанія. Хохоль стоялъ неподвижно, съ мрачнымъ и угрюмымъ выраженіемъ лица, и не спускалъ глазъ съ капитана.

Доставая хлысть, Вейнманъ пошатнулся и упалъ.

Раздался потрясающій ударъ грома, а вслѣдъ за нимъ новая молнія.

Капитанъ барахтался на мокрой и скользкой палубѣ, стараясь приподняться, но излишне выпитое пиво дѣлало его грузнымъ и челоукомъ.

— Помоги встать, олухъ... болванъ!.. прохрипѣлъ Вейнманъ.

Злая усмѣшка скользнула по губамъ Малявки.

Онъ оглянулся и увидѣлъ возлѣ себя небольшой чурбанъ съ ручкой, забытый однимъ изъ матросовъ, и, не отдавая себѣ отчета, не заботясь о будущемъ— съ дикой, нечеловѣческой силой ударилъ капитана по головѣ...

Слабый стонъ Вейнмана не привлекъ ничего вниманія.

Малявка наклонился надъ трупомъ поверженнаго врага и, точно не довѣряя, что ему удалось умертвить жестокаго изверга— съ глухимъ бѣшенствомъ сбросилъ еще теплое тѣло капитана въ бушующія волны моря.

— Собакѣ—собачья смерть!—прошепталъ онъ.

Возлѣ клѣтушки находилось ведро съ дегтемъ и кистью. Малявка схватилъ мокрую мазилку и машинально, съ дѣловою озабоченностью, замазалъ слѣды свѣжей крови, струившейся по палубѣ, сливаясь съ потоками дождя и пѣною волнъ.

Потъ катился по лицу Малявки и сердце билось съ лихорадочною быстротою.

Разсуждать о томъ, что случилось, радоваться или печалиться—было не время.

— Спроси капитана, Гримло!—кричалъ помощникъ, и Малявка слышалъ, какъ матросъ, грекъ Гримло, поднимался по лѣстницѣ...

Еще мгновенье и убійство Вейнмана станетъ извѣстнымъ.

Малявка спрятался за клѣтушкой и, держа въ рукахъ чурку, ждалъ...

II.

— Капитанъ! Гдѣ капитанъ? Зегель спрашиваетъ... началъ Гримло, небольшого роста широкоплечій грекъ съ крупнымъ профилемъ и глазами на выкатѣ, съ небритымъ подбородкомъ, на которомъ торчали жесткіе, какъ щетина, черные волосы. Онъ торопливо взобрался по узкой лѣстницѣ и, дойдя до верхней ступеньки, быстрымъ взоромъ окинулъ палубу, ища гдѣ капитанъ?

Течь въ трюмѣ увеличивалась и нужно было принять энергичныя мѣры. Помощникъ капитана, Зегель, оставался внизу, вмѣстѣ съ остальной командой, состоявшей изъ двухъ челоуковъ. Онъ приказалъ Гримло попросить капитана внизъ, гдѣ нужны были его указанія, совѣты.

— Капитанъ! — снова крикнулъ Гримло, порывшись съ вѣтлушкой, но порывъ вѣтра заглушилъ его голосъ.

Малявка дрожалъ отъ страха. Онъ понималъ, что команда не задумается убить его на мѣстѣ, узнавъ о смерти капитана; онъ угадывалъ, что самосудъ товарищей будетъ жестокъ и безпощаденъ; что ни одинъ изъ матросовъ не заступится за него, и всколыхнувшееся озлобленіе противъ «всѣхъ» готово было яростно излиться на «одного».

Хохоль замахнулся чуркой и въ одно мгновенье разможилъ голову Гримло.

Широкоплечій и здоровый грекъ не успѣлъ даже вскрикнуть. Онъ свалился, какъ пласть. Его обезображенная голова съ разбитымъ черепомъ лежала на бортѣ судна, а туловище, неестественно вытянувшись, почти касалось ногъ Малявки.

При блескѣ молніи хохоль увидѣлъ это страшное лицо съ широко раскрытыми глазами, эти оскаленные, сверкающіе зубы, и съ бѣшенствомъ сбросилъ трупъ врага въ пѣнившіяся волны.

Точно глухой жалобный вопль пронесся въ ночной темнотѣ.

Никто не слыхалъ его, никто не обратилъ вниманія. Порывы вѣтра становились все сильнѣе, и удары грома быстро слѣдовали одинъ за другимъ. Опасность возрастала съ каждымъ мгновеньемъ. По капризу хмѣльнаго капитана, желавшаго поступить на зло Малявкѣ, судно прямо шло на встрѣчу гибели.

Хохоль прекрасно зналъ фарватеръ. Еще ребенкомъ вмѣстѣ съ отцомъ онъ сотни разъ ходилъ въ далекое плаванье и любовно запоминалъ каждую особенность южнаго моря.

«Маякъ на право... Влѣво—подводная скала—размышлялъ Малявка. Мы погибнемъ. Логиновъ меня не послушаетъ... Что-же дѣлать теперь?»

Хохоль опустилсѣ и поползъ къ рулю. По временамъ онъ останавливался, прислушиваясь, не поднимается-ли кто изъ матросовъ по лѣстницѣ, не послалъ-ли Зегель новаго гонца за капитаномъ и Гримло. Нѣтъ. Все было тихо. Внизу кипѣла спѣшная работа и отрывистыя приказанія Зегеля долетали до слуха Малявки.

Логиновъ стоялъ у руля. Косой дождь слѣпилъ его зрѣніе, но чуткое ухо матроса различало какой-то шумъ.

— Кто тамъ?—спросилъ онъ.

Малявка молчалъ. Онъ затаилъ дыханіе и ждалъ...

Не получивъ отвѣта, Логиновъ успокоился.

При грохотѣ грома Малявка снова поползъ и, поднявшись во весь ростъ за спиною Логинова, съ прежней мѣткостью и силой нанесъ ударъ по головѣ рулевого.

Покончить съ Логиновымъ съ одного раза—не удалось.

Худошавый матросъ оказался выносливѣе. Ударъ только ошеломилъ его и заставилъ упасть. Прошло мгновенье. Обхвативъ руками ноги Малявки,

Логиновъ уронилъ его на скользкій помостъ палубы, и между двумя вратами завязалась отчаянная борьба. Они катались по полу, хрипло дыша и стараясь зарѣзать другъ друга. Нѣсколько разъ побѣда склонялась на сторону Логинова, и Малявка ясно сознавалъ ужасъ своего положенія.

Ужасъ передъ неизбежностью наказанія дѣлалъ его яростнымъ и безпощаднымъ.

Если онъ одолѣетъ Логинова и сброситъ въ море окровавленный трупъ москаля — убійство капитана и Гримло останется неизвѣстнымъ... Въ обратномъ случаѣ его преступленія немедленно откроются и разсвирѣпѣвшая команда обратится къ самосуду.

Малявка напрягъ всѣ силы, всю мощь своей желѣзной организаціи. Онъ вспомнилъ о шведскомъ ножѣ, лежавшемъ у него въ карманѣ, и, выхвативъ его, по рукоятку всадилъ въ горло Логинова.

Пряный запахъ горячей крови, фонтаномъ хлынувшей изъ смертельной раны Логинова, заставилъ отшатнуться хохла. Онъ не видѣлъ крови, но чувствовалъ ее, ощущалъ какъ липли его руки, какъ по лицу струились ея капли...

Ему становилось тошно и гадко. Дыханіе стѣснялось въ груди и короткіе отрывистые вздохи срывались съ губъ.

Наступила минута забытья. Терялось сознаніе. Слабѣли силы.

— Гей! Гримло! Чортъ, дьяволь! Куда запро-

паль?!—кричали снизу и кто-то вновь карабкался по лѣстницѣ.

Малявка очнулся. Машинально, привычнымъ жестомъ, онъ сбросилъ съ палубы трупъ третьей жертвы, залилъ дегтемъ кровавый слѣдъ и, съ проворствомъ кошки, очутился возлѣ клѣтушки, имѣвшей для него значеніе засады.

Глуповатый матросикъ изъ молодыхъ испыталъ участь Гримло.

Едва только успѣлъ онъ встунить на палубу, какъ ловкій ударъ Малявки убилъ его наповаль. Ни звука, ни стога. Матросикъ свалился внизъ лицомъ и, перевернувшись кубаремъ отъ толчка убійцы, тяжело рухнулъ за бортъ.

— Четвертый!—прошепталъ Малявка. Тамъ еще двое...

И снова, притаясь за клѣтушкой, онъ ждалъ.

Буря не стихала, и судно носилось по морю безъ руля, безъ паруса. Мачты скрипѣли и гнулись, грозя рассыпаться на мелкіе куски; флагъ былъ давно уже сорванъ...

Не понимая, что происходитъ на верху и зачѣмъ капитанъ оставляетъ у себя всѣхъ гонцовъ, посылаемыхъ къ нему—Зегель рѣшился навѣдаться самъ.

Онъ успѣлъ законопатить образовавшееся отверстие и течь прекратилась.

— Довольно! Иди наверхъ!—приказалъ Зегель своему товарищу, пожилому матросу, Прошкину. Скажи капитану... Да нѣтъ, я тоже иду.

Прошкинъ повиновался, а Зегель на мгновенье замѣшкался внизу.

Малявка не сплосалъ. Ловкій ударъ тою-же чуркой, и Прошкинъ былъ, убитъ.

— Пятый! Тамъ еще тотъ... проклятый!.. Мучитель! — шепталъ хохоль, питавшій одинаково глубокую ненависть къ капитану и къ его помощнику, Зегелю, отличавшемуся особенною жестокостью въ издѣвательствахъ надъ Малявкой.

Наступила рѣшительная минута.

Грудь съ грудью, рука съ рукой встрѣтятся теперь Малявка и Зегель, въ беспощадномъ бою. Отъ этой побѣды зависитъ все, да, все...

Торжество Малявки—это полная безнаказанность. Кто знаетъ, кто можетъ сказать, что произошло здѣсь въ бурную ночь, когда судно носилось по волнамъ, рискуя ежеминутно погибнуть? Кто станетъ искать убійцу и обличать его, если нѣтъ жертвы? О, только бы уничтожить Зегеля, этого злобнаго чухонца, всегда старавшагося угодить капитану и съ какимъ-то сладострастіемъ наслаждавшагося истязаніемъ Малявки!

Хохоль вспоминалъ, какъ его били линьками и ринетомъ, какъ морили голодомъ, какъ, бросая ему сухія корки, говорили: на, поѣшь своихъ голушекъ...

Мучительная злоба клокотала въ его груди. Поджидая Зегеля, онъ забылъ сбросить Прошку и стоялъ надъ его трупомъ, мрачно прислушиваясь.

Сверкнула молнія. Слабая и блѣдная, какъ

послѣдній привѣтъ удаляющейся грозы, она озарила клѣтушку, бездыханное тѣло матросика, окровавленную чурку и лужу темной крови у ногъ Малявки.

— Скорѣй... дегтю надо... Увидить... поймаешь...

Малявка схватился за кисть. Но было уже поздно...

Зегель стоялъ на верхней ступенькѣ и при свѣтѣ молніи замѣтилъ трупъ Прошкина и лицо убійцы.

— Ахъ, ты негодяй! Это ты... ты...—крикнулъ Зегель, бросаясь на Малявку.

Началась отчаянная и упорная борьба.

III.

Въ серединѣ судна находилась тѣсная каюта капитана. Привинченная койка, столикъ, на которомъ лежали различные инструменты, карты и книги, стулъ—вотъ и все, что могло помѣститься тамъ. Маленькая стеклянная дверь, отворявшаяся наружу, въ это мгновенье оставалась раскрытой.

Зегель замѣтилъ это обстоятельство.

Схватившись съ Малявкой, онъ изловчился ударить его по лбу и, пока ошеломленный хохоль

опустили руки, Зегель бросился въ каюту, захлопнул за собою дверь и заперъ ее на ключъ.

Борьба враговъ вступала въ новый фазисъ.

Одолѣть Зегеля и, слѣдовательно, воспользоваться результатомъ преступленія, казалось Малявкѣ настоятельно-необходимымъ. Онъ стоналъ отъ бѣшенства, сознавая свою неудачу, и громко ругался, проклиналъ, богохульствовалъ.

Притаившись въ каютѣ, Зегель трепеталъ отъ ужаса.

Онъ угадывалъ страшную правду и понималъ безысходность своего положенія.

Въ темнотѣ шарилъ онъ по столу капитана, мечтая найти револьверъ, ножъ, кастетъ, какое нибудь оружіе—но съ отчаяніемъ вспомнилъ, что трусливый деспотъ, Вейнманъ, носилъ все оружіе при себѣ...

— Сдавайся, проклятый чухонецъ! Слышишь? Все равно убью!—прорычалъ Малявка, задыхаясь отъ злобы.—Пятерыхъ положишь, надъ шестымъ не задумываться!...

Зегель молчалъ.

Счастливая мысль мелькнула въ головѣ убійцы.

Онъ зналъ, что дверь каютки крѣпка и сломать ее нѣтъ возможности, но онъ вспомнилъ о стеклѣ...

Схвативъ багоръ и доставъ изъ кармана тонкую крѣпкую бичевку, Малявка привязалъ къ концу багра шведскій ножъ и, разбивъ стекло

ударомъ чурки, просунулъ въ образовавшееся отверстіе свое орудіе.

Положеніе Зегеля становилось отчаяннымъ.

Спасаясь отъ ударовъ Малявки, наудачу совашаго багоръ съ острымъ ножомъ на концѣ, онъ бѣгалъ, какъ бѣлка въ колесѣ, прыгая съ кровати на столъ, на стулъ, изгибаясь, корчась и поднимаясь на цыпочки.

Нѣсколько разъ уже ножъ скользилъ по его лицу, шеѣ, ногамъ; нѣсколько ранъ было уже нанесено... Смерть приближалась. Ея холодное дыханіе уже чуялось, возбуждая потрясающую дрожь.

— Сдавайся, проклятый! Сдавайся!—торжествующимъ тономъ говорилъ Малявка.

Зегель все такъ-же упорно молчалъ.

Надежда на спасеніе блеснула для несчастнаго.

Онъ спрятался въ уголъ, возлѣ самой двери, и такимъ образомъ являлся неуязвимымъ. Достать его рукой, вооруженной ножомъ—нельзя: далеко; багоръ—слишкомъ близко.

Малявка топнулъ ногой, сознавая свою неудачу. Грубые ругательства срывались съ его устъ, и онъ бросился къ дверямъ, намѣреваясь выломать ихъ.

Напрасная надежда. Дубовыя доски и крѣпкіе затворы выдержали его натискъ, но Зегель дрожалъ отъ ужаса, представляя себѣ, что произойдетъ, когда наконецъ ему придется очутиться лицомъ къ лицу съ разъяреннымъ безумцемъ.

У него являлась смѣлая мысль сдѣлать вылазку и вступить въ открытую борьбу съ Малявкой.

«Лучше смерть, думаль онъ,—чѣмъ это мучительное выжиданіе гибели. Судно бросаетъ и кренить на бокъ... Волны захлестываютъ насъ... Мы на краю пропасти. О, еслибъ найти какое-нибудь оружіе!.. Какое-нибудь!»...

— Сдаваться не хочешь?!—злбно повторилъ Малявка.—Ну, ладно! Я тебя угощу... Ночь холодная, такъ согрѣться пріятно... Подпалю!

Зегель смутно угадывалъ, что хочетъ сдѣлать хохоль.

Малявка спустилъ лодку, сбросилъ въ нее корзину съ съѣстными припасами, теплый армякъ, еще кое-какія вещи, а затѣмъ, свернувъ изъ пакли большой фитиль, облилъ его керосиномъ.

Съ этимъ ужаснымъ орудіемъ въ рукахъ Малявка приблизился къ убѣжищу Зегеля. Онъ уже чиркнулъ спичку, готовясь зажечь фитиль, но вѣтеръ задулъ огонь.

Зегель видѣлъ приготовления Малявки. Онъ не могъ не замѣтить того поражающаго спокойствія, съ которымъ хохоль приступалъ къ выполненію своего намѣренія. Казалось, никакія силы въ мірѣ не заставятъ его отступить отъ безпощаднаго и злбнаго плана живьемъ спалить ненавистнаго врага. Всѣ мучители, къ которымъ онъ питалъ глухую, животную злобу, были уничтожены; оставался одинъ, самый ненавистный

послѣ капитана, и Малявкѣ хотѣлось вдоволь натѣшиться его муками, упиться его столами, насладиться зрѣлищемъ невѣроятныхъ страданій Зегеля.

Все человѣческое было придавлено въ душѣ Малявки. Это былъ звѣрь, обезумѣвшій, кровавадный звѣрь, невѣдающій предѣла, неспособный сознавать своихъ проступковъ, но, во что бы то ни стало, етремящійся къ побѣдѣ.

Поднявъ полу своей одежды, чтобы защитить факель противъ вѣтра, Малявка наконецъ зажегъ огонь. Фитиль вспыхнулъ.

Поглощенный своимъ дѣломъ хохоль не замѣтилъ, что Зегель успѣлъ воспользоваться удобною минутой. Онъ тихо отодвинулъ затворъ и въ тотъ моментъ, когда Малявка уже зажегъ фитиль, Зегель быстро распахнулъ дверь каюты...

Неожиданный толчекъ заставилъ Малявку выронить фитиль изъ рукъ. Едва разгорѣвшійся пучъ пакли—погасъ.

Роли враговъ перемѣнились.

Опустивъ руку въ карманъ, Зегель заговорилъ суровымъ тономъ:

— Смирно! Я тебя убью на мѣстѣ, негодяй! Стой! Не шевелись! У меня въ карманѣ револьверы съ шестью пулями. Я тебѣ всажу ихъ въ голову... Понялъ...

Въ карманѣ Зегеля не существовало никакого оружія, но онъ понялъ чутьемъ, что на разсвирѣпѣвшаго убійцу можно подѣйствовать толь-

ко хладнокровіемъ и повелительнымъ тономъ. Эта мѣра дала прекрасный результатъ.

Злодѣй, Малявка, беспощадно убившій пятерыхъ людей, разъяренный мститель, только-что собиравшійся спалить живьемъ послѣдняго врага, разнуздавшійся, потерявшій всякое сознание человѣкъ—вдругъ оробѣлъ, притихъ и стоялъ какъ вкопанный. Теперь ему самому грозила смерть..

— Подай веревку!—тѣмъ-же грознымъ, но спокойнымъ тономъ продолжалъ Зегель, понимая, что одно неосторожное движеніе можетъ стоить ему жизни. Онъ дѣйствовалъ, какъ укротитель хищныхъ звѣрей, входящій въ клѣтку, гдѣ находятся тигры, львы и гіены, злобно взирающіе на своего хозяина, но не дерзающіе прикоснуться къ нему, пока взоръ представителя высшей культуры парализуетъ ихъ. Но одна секунда, пустая забывчивость, и звѣри растерзаютъ укротителя...

— Подай веревку!—повторилъ Зегель, возвышая голосъ и не спуская глазъ съ Малявки.

Хохоль выпрямился во весь ростъ; но, мгновенно, словно повинуваясь какой-то высшей силѣ, изогнулся, понурилъ голову и покорно подаль веревку.

— Повернись спиной.

Малявка повиновался.

Зегель скрутилъ его руки и, подтащивъ къ мачтѣ, крѣпко привязалъ его по рукамъ и по ногамъ. Хохоль не произнесъ ни одного слова. Онъ мрачно и съ какимъ то недоумѣніемъ смо-

трѣлъ на Зегеля, не понимая, что случилось, что происходитъ съ нимъ...

Буря стихала. На востокѣ слабо занималась заря, въ видѣ блѣдной полосы, отдѣлявшей море отъ темнаго горизонта. Въ небѣ блеснули двѣ-три звѣздочки и гдѣ-то далеко раздался звонъ колокола съ маяка.

Зегель снялъ шапку и, обратившись къ востоку, широко перекрестился. На глазахъ были слезы умиленія и благодарности.

Взглянувъ на Малявку, безпомощнаго и крѣпко привязаннаго къ мачтѣ, Зегель опустилъ голову. Что-то похожее на угрызеніе совѣсти зашевелилось въ его душѣ. Онъ вспомнилъ, какъ всѣ издѣвались надъ хохломъ, какъ, пользуясь правомъ сильнаго, оскорбляли и поносили его..

Выкинувъ «бѣлый флагъ», условный знакъ, призывающій на помощь, Зегель помѣстился у руля. Ужасные, мучительные часы переживалъ онъ, стоя подъ дождемъ, лившимъ непрерывно. Судно носилось по волнамъ, какъ утлая ладья, и только случай спасъ «Героя» отъ близкой гибели.

Иностранный пароходъ спасъ «Героя», взявъ его на буксиръ, и подъ утро судно было введено въ гавань С.

IV.

В Малявки открылась горячка и онъ лежалъ въ мѣстномъ госпиталѣ, ничего не сознавая и не помня. Сколько прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ онъ очутился на больничной койкѣ, подъ роковымъ ярлычкомъ «преступникъ», Малявка не зналъ. По ночамъ онъ бредилъ и стоналъ, переживая весь ужасъ совершоннаго злодѣянія, а днемъ, когда прекращались галлюцинаціи, снова становился мрачнымъ и молчаливымъ, односложно отвѣчая на всѣ вопросы.

Сестра милосердія, Ольга Андреевна Петрова, немолодая дѣвушка, отличавшаяся замѣчательною добротою и нѣсколько мистическимъ складомъ характера, заинтересовалась личностью больного.

Она не знала, въ чемъ именно заключалось преступленіе Малявки, но для нея было достаточно свѣдѣнія, что это—«несчастный», и она съ христіанскимъ сожалѣніемъ относилась къ нему.

Довести до раскаянія самаго закоренѣлаго преступника и обратить его душу къ Богу—такова была жизненная цѣль самоотверженной дѣвушки, и она скромно, но энергично, служила своему идеалу.

Много людей съ больною и истерзанною совѣстью прошло передъ Ольгой Андреевной, много

признаній, ужасныхъ, раздирающихъ душу признаній, приходилось выслушивать дѣвушкѣ и всегда находила она слово утѣшенія, совѣта, всегда умѣла внести лучъ надежды въ сердце изнемогающаго грѣшника.

— Это—самый ужасный, самый невѣроятный злодѣй! сказалъ смотритель Ольгѣ Андреевнѣ, указывая на Малявку. Онъ убилъ пятерыхъ товарищей и ни капли раскаянія...

— Вы съ нимъ говорили? спросила дѣвушка.

— Ну его! Я-бы такихъ военнымъ судомъ судилъ, въ двадцать четыре часа, и прямо на висѣлицу!

Теперь Ольга Андреевна понимала причину молчаливости Малявки, его боязнь смотрѣть въ глаза людямъ, его отчужденность и сосредоточенность.

Желаніе пробудить совѣсть несчастнаго и довести его до раскаянья сдѣлалось преобладающимъ, но всѣ попытки Ольги Андреевны заговорить съ Малявкой встрѣчали съ его стороны суровый, но молчаливый отпоръ.

«Ну, чего ты лѣзешь?—казалось, говорилъ его взоръ.—Вотъ, хвачу кулакомъ и кончено!»

Кроткій, участливый взглядъ дѣвушки терзалъ Малявку. Въ тихомъ голосѣ «сестрицы» было столько всепрощенія, что минутами мрачный хохоль ненавидѣлъ ее всѣми силами и отворачивался къ стѣнѣ, отказываясь отъ пищи и лекарства.

Наступил канунъ Рождества.

Вездѣ, во всѣхъ концахъ нашей родины, въ семьяхъ и въ пріютахъ, въ больницахъ и даже въ тюрьмахъ, этотъ великій день отмѣчается въ вереницѣ обыкновенныхъ дней. Добрые люди при-слали въ С—кую больницу съѣстныхъ припасовъ, фруктовъ, вина, и сестры раздавали подарки несчастнымъ.

— Ненадо!—рѣзко отказался Малявка.—Себѣ возьмите!

Ольга Андреевна молча отошла отъ его койки. Но поздно вечеромъ, когда всѣ больные уже спали, «сестрица» приблизилась къ Малявкѣ и сказала:

— Можетъ быть у васъ есть родные, близкіе, которымъ вы хотѣли-бы написать?

— Никого у меня нѣтъ!

— Нѣтъ? Можетъ быть у васъ есть мать? Вспомните, какъ тяжело ей провести великій праздникъ одной, не зная, гдѣ ея сынъ... что съ нимъ... Вспомните, что нѣтъ грѣха, который не простила-бы мать. Вспомните, что раскаянье, чистосердечное раскаянье, облегчитъ ваше горе, ваше страданіе...

Тихо лилась рѣчь доброй дѣвушки и Малявка, начавшій слушать съ озлобленіемъ и досадою, теперь внималъ ей съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ.

Ольга Андреевна не перечисляла его ужасныхъ злодѣяній, не называла убійцей и пре-

ступникомъ, не корила, не проклинала... Она говорила о раскаяніи, о примиреніи, она указывала на милосердіе Всемогущаго Бога, простившаго даже разбойника на крестѣ.

Горькія рыданія огласили больничную палату.

Малявка, грубый злодѣй, спокойно убивавшій беззащитныхъ людей, рыдалъ какъ ребенокъ, едва раздалось надъ нимъ слово христіанской любви и всепрощенія. Онъ рассказалъ «сестрицѣ» мучительную драму, пережитую имъ, онъ съ ужасомъ и отчаяніемъ передалъ ей исторію своихъ преступленій и только теперь, пожалуй, понялъ онъ весь ужасъ совершеннаго злодѣянія... Слезы катились по лицу Ольги Андреевны.

Преступленіе Малявки было отвратительно, жестоко и безчеловѣчно, но онъ все-таки оказался способнымъ къ раскаянью...

Въ великій канунъ великаго дня скромной и простенькой дѣвушкѣ удалось совершить дивный подвигъ. Она пробудила голосъ совѣсти въ душѣ и озлобленнаго погибающаго человѣка, она указала ему путь къ исправленію.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Малявку судили въ О—мѣ окружномъ судѣ и приговорили къ каторжнымъ работамъ на пять лѣтъ.

Незначительность наказанія преступника обусловливалась возрастомъ Малявки и тѣми обсто-

ательствами, которыя раскрылись на судебномъ слѣдствіи.

Зегель нескрылъ правды и нарисовалъ вѣрную картину тѣхъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, которымъ подвергали Малявку Вейманъ и его сподвижники.

Ольга Андреевна продолжаетъ заботиться о душѣ спасеннаго ею челоуѣка и преступникъ Малявка идетъ по пути исправленія вѣрными шагами.



ОНА ЗАБЫЛА...

(О черкъ.)



I.

Въ это утро Сергѣй Петровичъ всталъ раньше обыкновеннаго.

Онъ обошелъ всѣ комнаты въ сопровожденіи пожилаго, сосредоточенно-молчаливаго слуги, Ивана, и, указывая на груды старыхъ газетъ, лежащихъ на полу, на разбросанныя книги, на банки съ засохшими растеніями, говорилъ отрывистымъ, спокойнымъ тономъ:

— Убрать надо! Пожалуйста почище, Иванъ! Пусть все въ порядкѣ будетъ!..

Слуга безмолвно кивалъ головой, но когда Сергѣй Петровичъ возвратился въ кабинетъ и снова прилегъ на диванъ, Иванъ почесалъ затылокъ и сердито крикнулъ:

— И зачѣмъ было гостей звать, произнесъ онъ, вооружаясь щеткой и тряпкой. Мнѣ что... Я уберу... Нетрудно... А только разбередить онъ себя, какъ тогда, объ Рождествѣ, когда елку дѣлать затѣялъ... Э-эхъ, жаль мнѣ его!

Сергѣй Петровичъ Власовъ лежалъ на диванѣ, закинувъ руки за голову, и думалъ скорбную, горькую думу.

Вчера, когда онъ обѣдалъ у пріятеля своего, Зиновьева, въ кружкѣ добрыхъ знакомыхъ, кто-то вспомнилъ, что на завтра именины Власова. Начались обычные шутки и добродушные упрёки, что именинникъ скрываетъ день ангела, не хочетъ позвать гостей, что онъ сталъ скупымъ и отшельникомъ... Власовъ оправдывался, ссылаясь на тѣсноту квартиры, на неловкость Ивана. Ничто не помогло. Жена Зиновьева, добрая и милая Анна Павловна, заявила, что пріѣдетъ съ домашнимъ пирогомъ, а одинъ изъ молодыхъ людей, артистъ въ душѣ и по профессіи, сказалъ, что явится съ гитарой и, въ честь именинника, будетъ пѣть цыганскія пѣсни. Сергѣй Петровичъ покорился.

Всѣ были такъ любезны къ Власову, такъ деликатно, почти бережно обращались съ нимъ, что ему стало неловко. Онъ только вчера понялъ то исключительное положеніе, въ которомъ находился со дня катастрофы, разразившейся надъ нимъ. Всѣ его жалѣли, щадили, даже баловали...

Да, всѣ... Только *она* не пощадила!

II.

Въ памяти Сергѣя Петровича ярко и рельефно встало недавнее прошлое съ его крошечнымъ, вымученнымъ счастьемъ, съ его громаднымъ, подавляющимъ горемъ. Простая, несложная самая обыденная въ наше время, исторія семейной неурядицы, но какъ она мучительно отозвалась въ сердцѣ мужа и отца!

Власовъ полюбилъ хорошенькую, молодую дѣвушку и женился на ней. Маня, такъ звали его подругу, была прелестна и мила. Она звонко смѣялась, пѣла и, какъ птичка весною, щебетала о своей любви къ мужу. У Власова были небольшія, но опредѣленные средства, хорошее положеніе и кружокъ людей искренно его уважавшихъ. Счастье улыбнулось Сергѣю Петровичу. Возвращаясь домой со службы, онъ зналъ, что его встрѣтитъ ласковый взоръ жены, что ея маленькія ручки крѣпко обнимутъ его, а хорошенькая головка прильнетъ къ его груди. И какъ онъ торопился въ свой уютный, теплый уголокъ, съ какимъ сожалѣніемъ глядѣлъ на холостяковъ-товарищей, невѣдающихъ какъ убить время!...

Прошелъ годъ. У Власовыхъ родилась дочь, Лидочка, и Сергѣй Петровичъ захлебывался отъ радости, любуясь маленькимъ, сморщеннымъ су-

ществомъ. Съ родительской пронизательностью онъ угадывалъ, что его малютка будетъ чудомъ красоты, ума, талантовъ и всяческихъ совершенствъ. Онъ желалъ начать воспитаніе Лидочки съ колыбели и, стремясь подготовить Маню къ высокой миссіи матери, съ грустью замѣчалъ, что прелестная куколка-жена остается такою же куколкой-матерью.

Начались сцены, размолвки, даже ссоры...

Маня находила, что мужъ придирается и требуетъ отъ нея настоящихъ подвиговъ. Не можетъ же она сама кормить ребенка, если ради этого нужно постоянно сидѣть дома. Она не хочетъ обабиться и возбуждать смѣхъ... Можно взять хорошую «ученую» няню. Теперь есть такія. Наконецъ, докторъ находить, что кормилица гораздо полезнѣе. У нея нѣтъ нервовъ... на нее ничто не вліяетъ.

Волей-неволей Власовъ согласился.

Правда, ему было тяжело, почти завидно, что первыя улыбки Лидочка расточала толстой Дарьѣ; что ребенокъ плакалъ, едва неумѣлая мать брала его на руки; что и самъ онъ не смѣлъ любоваться малюткой тогда, когда ему хотѣлось... Между нимъ и его дѣточкой стояло чуждое существо, наемница, старавшаяся извлекать выгоду всякій разъ, когда отецъ, уступая властному порыву, подходилъ къ колыбели.

— Лидочка... Лидочка... сокровище мое!—замирая

отъ счастья, шепталъ Власовъ, цѣлуя полуоткрытый ротикъ дочки.

— Баринъ, сдѣлайте такую милость, позвольте жалованье впередъ за два мѣсяца. Отъ мужа письмо получила... Коровушка пала... Такое горе... Дѣти безъ молока сидятъ... плаксиво говорила Дарья, вытирая концомъ передника сухіе глаза.

Власовъ торопливо давалъ деньги, заявляя, что это такъ... просто... Онъ просилъ только одного: «беречь его дѣвочку» и обѣщалъ всегда, всегда заботиться о семьѣ кормилицы...

III.

Освобожденная отъ скучныхъ обязанностей, Маня могла пользоваться удовольствіями и Власовъ не стѣснялъ ея. Въ то время у него случилось очень много работы и онъ цѣлые вечера проводилъ дома. Маня пріѣзжала изъ гостей или изъ театра веселая и довольная. Въ беспорядочномъ потокѣ ея рассказовъ можно было уловить тонъ самохвальства и торжества. Съ ребяческимъ восторгомъ передавала она отзывы о своемъ костюмѣ, повторяла свои *bons mots*, свои остроты и пожимала плечами, если Власовъ не

вторилъ похвалямъ, не смѣялся избитымъ фразамъ.

«*Другіе* все понимаютъ... *Съ другими* весело... пріятно!.. *Другіе* умѣютъ ванять» — думала молодая женщина, торопливо уходя въ свою комнату и начиная раздѣваться.

Усталый отъ работы, Власовъ жаждалъ отдохнуть въ обществѣ жены. Ему хотѣлось поговорить съ нею по душѣ, обмѣняться впечатлѣніями, прильнуть къ ея груди какъ къ другу, но... *Маня тоже устала!* Она желала заснуть какъ можно скорѣе. У нея на завтра такъ много дѣла: репетиція домашняго спектакля; засѣданіе въ комитетѣ; два визита; къ модисткѣ надо заѣхать... а вечеромъ балъ у знакомыхъ...

Мало по малу нарастало взаимное непониманіе и отчужденіе.

Супруги начали соблюдать извѣстную политику и избѣгали касаться нѣкоторыхъ вопросовъ. Власовъ съ горечью замѣчалъ, что его вліяніе, совѣты, даже просьбы — безсильны. Маня сошлась и подружилась съ такими дамами, которыя не нравились Сергѣю Петровичу и, что всего печальнѣе, подпала подъ ихъ власть.

«Она совершенно безхарактерна; изъ нея могутъ дѣлать что хотятъ!...» — съ отчаяньемъ думалъ Власовъ и ясно видѣлъ, что Маня послушается всѣхъ, кромѣ него, что только по отношенію къ нему она старательно выказываетъ свою само-

стоятельность а при гостяхъ даже дѣлаетъ намеки на супружескій деспотизмъ...

Драма подготовлялась. Она чувствовалась въ воздухѣ; она замѣчалась въ томъ, что супруги *не могли* разговаривать дружжелюбно. Пустая бѣсѣда переходила въ споръ, подчасъ въ ссору.

IV.

Мотивомъ разрыва явилась Лидочка.

Прелестная, бѣлокурая, пяти-лѣтняя малютка, Лидочка горячо любила отца. Съ нимъ дѣлилась она дѣтскимъ горемъ и радостями; ему лепетала она сказки, слышанныя отъ няни; ему повѣряла свои мечты, всегда начинавшіяся со словъ: «когда я буду большая»...

Всѣ свободные часы Власовъ проводилъ съ Лидочкой. Въ большомъ креслѣ у камина, посадивъ дочурку на колѣни, онъ то рассказывалъ ей чудныя поэмы, то самъ слушалъ ея чистый лепетъ.

Къ матери Лидочка относилась какъ-то странно. Она любила свою хорошенькую, нарядную какъ куколка, маму, но на нее охлаждающимъ образомъ вліяли окрики Маріи Васильевны, боявшейся, что дѣвочка изомнетъ ея модное платье,

или разобьетъ фарфоровыя бездѣлушки, переполнявшія будуаръ.

— У тебя веселѣй, папа... Все у тебя въ кабинетѣ можно трогать простодушно говорила дѣвочка, и Власовъ былъ счастливъ.

Какъ-то разъ Сергѣй Петровичъ раньше обыкновеннаго возвратился домой къ обѣду. Онъ совершенно забылъ, что сегодня среда, «пріёмное утро» жены, продолжающееся отъ часа до шести вечера. Подобные пріемы «вошли въ моду» и не могла-же Марья Васильевна отстать отъ нея...

Эти «утра» очень удобны. Во-первыхъ, мужа, этотъ стѣсняющій элементъ, отсутствуютъ; во-вторыхъ, кромѣ чая съ печеньемъ, ничего не подаютъ и; въ третьихъ, можно надѣвать кокетливый домашній костюмъ и вообще чувствовать себя свободнѣй.

Увидѣвъ въ передней множество шубъ и пальто, Власовъ нахмурился. Онъ зналъ, что по средамъ его кабинетъ обращаютъ въ курительную, и, сбросивъ шинель, пошелъ въ комнату Лидочки.

Громкій голосъ няни и тихій плачь ребенка привлекли его вниманіе. Онъ бросился къ дверямъ и остановился.

— Гадкая дѣвчонка! Капризница! Вотъ, погоди, мама тебя нашлаетъ! гнѣвно говорила «ученая» няня-нѣмка, смѣнившая добрую, ласковую старушку, въ чемъ-то согрубившую барынь.

— Что такое? Что случилось?—спросилъ Власовъ.

— Барыня приказали одѣть Лидочку и къ нимъ привести, а она капризничаетъ, не даетъ волосы причесать... Пятый разъ щипцы нагрѣваю... Вотъ и платья не хочетъ...

Власовъ взглянулъ на Лидочку и ахнулъ.

Она стояла безъ платья, въ юбочкѣ, съ турнюромъ, въ корсетѣ и горько плакала, закрывая лицо руками. Зрѣлище дѣтской скорби острою болью сжало сердце Власова.

— Лидочка, ангелъ мой... О чемъ? Голубочка, что съ тобою? спрашивалъ онъ, опустившись на колѣни.

Дѣвочка обняла голыми, холодными руками шею отца, прижалась къ нему и, продолжая тихо всхлипывать, шептала:

— Я не хочу новаго платья, папа... узко... Дышать мнѣ больно... Корсетъ тоже больно... Я не хочу... Волосы... Обожгла лобъ... Больно... Прости, папуня, правда, больно!...

— Сейчасъ-же снять съ Лидочки всѣ эти дурацкіе наряды: и турнюръ, и корсетъ, и все... Надѣть обыкновенное платье...

— Барыня приказали...

— Дѣлайте то, что я приказалъ! Я здѣсь хозяйинъ!

Няня испугалась. До сихъ поръ она не подозревала, что Власовъ *умѣетъ* такъ говорить, и даже почувствовала къ нему уваженіе.

Черезъ нѣсколько минутъ Лидочка была переодѣта и Сергѣй Петровичъ, вспомнивъ, что его единственный пріютъ—кабинетъ—занять гостями, приказалъ закутать дѣвочку и повезъ ее кататься. Горе ребенка превратилось въ восторгъ. Власовъ заѣхалъ въ игрушечный магазинъ и Лидочка выбрала себѣ грудку игрушекъ.

Когда отецъ и дочь вернулись, Марьи Васильевны не было дома.

— Къ мамашѣ уѣхали, доложила горничная, значительно поджимая губы.

Остатокъ дня Власовъ провелъ въ возбужденно-веселомъ настроеніи духа. Онъ, какъ ребенокъ, бѣгалъ и возился съ Лидочкой, каталъ ее на себѣ, игралъ въ прятки, въ лошадки, но, мгновеньями, вспоминая тихія рыданія дѣвочки, ощущалъ невыразимую боль и раскаянье.

«Какъ я могъ допустить?—думалъ онъ. Искверкаютъ... испортиятъ... развратятъ... Подобное невмѣшательство хуже преступленія... Нѣтъ, надо положить конецъ!...»

Набѣгавшаяся и безгранично-счастливая Лидочка заснула на рукахъ отца. Онъ самъ отнесъ ее въ дѣтскую, самъ раздѣлъ и, положивъ въ кроватку, долго, долго любовался ея безмятежнымъ личикомъ и вслушивался въ ровное дыханіе.

Уходя, Власовъ перекрестилъ малютку. Думалъ ли онъ, что это счастье дается ему въ послѣдній разъ?...

V.

Марья Васильевна возвратилась довольно поздно, но прислуга еще не спала. Молодая женщина вошла въ свой будуаръ и хотѣла уже затворить дверь, когда Власовъ появился на порогѣ.

— Намъ нужно поговорить,—сказалъ онъ.

— Надѣюсь, дѣло неспѣшное—зѣвая отвѣчала Маня.—Я очень устала и хочу отдохнуть. Если ты насчетъ няни... то я уже ей отказала... Замѣчательно глупа!... Не умѣетъ ни одѣть, ни завить ребенка. Я слышала: она даже обожгла Лиду...

Произошло бурное объясненіе. Слово за словомъ, впервые за годы молчаливой муки и ежедневныхъ разочарованій, Власовъ высказалъ все, что наболѣло и накипѣло на душѣ. Онъ не щадилъ, и, прямо, честно бичевалъ мелочную натуру жены, приводя эпизоды и факты, которые она считала сокровенными.

Марья Васильевна не осталась въ долгу.

Съ нея сорвали личину, ее поняли, разгадали и она металась какъ раненая львица, жалила какъ змѣя, клеветала... какъ женщина.

Власовъ самъ не помнилъ, какъ въ рукахъ его очутился револьверъ и какъ онъ выстрѣлилъ.

Начались крики, стоны, истерика. Сбѣжалась

прислуга, явилась полиція и въ ту-же ночь Власовъ очутился въ домѣ предварительнаго заключенія. Его обвиняли въ покушеніи на убійство жены, хотя Маня осталась невредима...

Потянулись долгіе мѣсяцы слѣдствія, допросовъ и полной отчужденности. Власовъ не опровергалъ своего преступленія, но и не давалъ никакихъ объясненій. Въ немъ точно замерло все, застыло, и только мысль о Лидочкѣ являлась яркимъ солнечнымъ лучемъ, врывающимся мрачную темницу.

Всѣ мольбы отца о свиданіи съ дочерью отклонялись.

Право сильного было на сторонѣ матери и она имъ пользовалась.

Во время судебной процедуры Марья Васильевна успѣла, путемъ связей и знакомства, получить отдѣльный видъ, обезпеченное содержаніе и право оставить у себя дочь до ея поступленія въ институтъ.

На судѣ всѣ показанія Марьи Васильевны были противъ мужа. Она послѣдовала совѣту моднаго адвоката и говорила очень красиво и картинно о невозможномъ характерѣ Власова, о его капризахъ, прихотяхъ и странныхъ поступкахъ. Всѣ свидѣтели высказались за Марью Васильевну, рисуя ее какъ хорошую женщину, добрую жену и нѣжную мать. Нравственнаго разлада супруговъ никто не понималъ...

Власовъ упорно молчалъ.

Защитникъ подсудимаго съумѣлъ взглянуть глубже и затронулъ въ сердцахъ присяжныхъ такія струны, которыя болѣзненно ноютъ въ наше время въ груди каждаго мыслящаго и чуткаго человѣка.

Страшна не измѣна жены, не ея вѣроломство: то и другое можно зажить и забыть... Страшно и ужасно, когда нравственный разладъ внѣдрился въ семью, — и люди, связанные передъ алтаремъ, начинаютъ говорить на разныхъ языкахъ. Страшно и ужасно, что труженикъ-мужъ не имѣетъ нравственнаго отдыха въ томъ углу, который созданъ его кровью и потомъ. Страшно и ужасно, что легкомысленная куколка-жена *не умѣетъ* быть матерью и безпощадно коверкаетъ свое дитя, внося зерно порока въ грядущее поколѣніе...

Власова оправдали, но онъ не обрадовался, не оживился.

Онъ крѣпко пожалъ руку защитника, ожидавшаго, быть можетъ, болѣе горячей благодарности, и сказалъ:

— Спасибо вамъ. Вы поняли... Вы вѣрно взглянули...

Возвратившись домой, въ одинокую квартиру, Власовъ узналъ, что жена, вмѣстѣ съ Лидочкой, переѣхали къ бабушкѣ, гдѣ и будутъ жить постоянно.

— Барыня *свои права* получили, ввернула горничная.— Тамъ письмо вамъ оставлено.

VI.

Сергѣй Петровичъ очутился въ странномъ положеніи.

Ни о процесѣ, ни женѣ, ни о Лидочкѣ никто не говорилъ съ нимъ. Всѣ точно условились обходить этотъ предметъ и даже избѣгали всего, что могло наводить на него. Такъ поступаютъ съ безнадежно больнымъ, или съ тѣмъ, кто имѣлъ несчастье лишиться любимаго существа.

А между тѣмъ Власову страстно хотѣлось говорить о томъ, что было и что случилось; хотѣлось многое выяснить, понять; хотѣлось излиться передъ истиннымъ, чуткимъ другомъ.

«Истинный другъ»... въ наше-то время! Какія блажныя мечты бываютъ у людей!

Видѣть Лидочку, прижать къ своей груди это чистое, еще не вѣдающее зла существо, это любящее дитя, не признающее никакихъ перегородокъ, сдѣлалось для Власова чѣмъ-то настоятельно-необходимымъ. Онъ написалъ письмо — ему не отвѣтили; послалъ посыльнаго — тоже самое. Онъ приходилъ два раза въ квартиру тещи — его не приняли, а сквозь неплотно закрытую дверь онъ слышалъ, какъ встрепенулась его дѣвочка и звонко, радостно крикнула:

— Папочка! Папуня мой!

«Права», полученныя женой, давали ей многія преимущества, но налагали и извѣстныя обязанности. Она *должна* была давать отцу свиданія съ дочерью, когда онъ того потребуетъ... Никогда, конечно, не приходило въ голову Власову, что онъ можетъ обратиться къ насилію, но теперь, когда въ ухахъ его прозвучалъ голосъ Лидочки, когда обрадованная дѣвочка произнесла «Папочка! Папуня мой!» — Власовъ все, все забылъ.

Онъ помнилъ одно только: Я — отецъ!

Сергѣй Петровичъ бросился въ участокъ, объяснялъ, говорилъ, показывалъ документъ. Его... слушали внимательно, съ недоумѣніемъ, почти съ любопытствомъ.

Наконецъ все стало яснымъ.

Старику - приставу, заслуженному капитану, впервые приходилось исполнять подобную миссію: онъ долженъ былъ доставить отцу возможность поцѣловать дочь...

Этого свиданія Власовъ никогда, никогда не забудетъ!

Прислуга не хотѣла впустить Сергѣя Петровича, но слово пристава открыло двери. Началась раздирательная сцена. Мать и бабушка среди истерическихъ стоновъ, кричали: «Онъ убьетъ ее!» Лидочка рвалась въ залу, гдѣ находился отецъ, а бонна, боясь потерять мѣсто, удерживала ребенка...

Старикъ-приставъ вмѣшался. Онъ успокоилъ

объихъ женщинъ, сказавъ, что ручается за безопасность ребенка и, взявъ Лидочку за руку, ввелъ въ залу.

Посѣдѣвшій отъ нравственныхъ страданій отецъ и прелестная бѣлокурая дѣвочка горячо обнялись. Власовъ тихо рыдалъ, прижавшись къ груди разряженнаго ребенка, а Лидочка, вся дрожа отъ волненія, шептала нѣжныя, ласковыя слова и упрекала — зачѣмъ онъ уѣзжалъ такъ на долго...

— Теперь ты не уйдешь, папуня? Ты остаешься? Мнѣ безъ тебя такъ скучно... Я теперь умница... Я не капризничаю и, видишь, ношу корсетъ...

Приставъ отвернулся и отошелъ къ окну.

Что-то заволакивало его зрѣніе, но вынуть платокъ ему было совѣстно...

VII.

Время заживляетъ самыя ужасныя душевныя раны и заставляетъ свыкаться съ невозможнымъ, казалось-бы, положеніемъ.

Такъ было и въ данномъ случаѣ.

Нѣжный, безгранично-любящій отецъ отвоевалъ себѣ право разъ въ недѣлю видѣть свое

дитя, но проводить драгоценныя полчаса въ квартирѣ бабушки, на глазахъ безсердечныхъ и любопытныхъ людей—это была пытка. Власову удалось добиться позволенія уводить Лидочку гулять, и онъ ходилъ съ нею взадъ и впередъ по панели, или везъ въ игрушечный магазинъ, поминутно смотря на часы.

Холодный вѣтеръ, вьюга, морозъ или дождь лишали его свиданія и онъ бродилъ возлѣ дома, гдѣ жила Лидочка, ожидая, не выйдетъ-ли при слуга.

«Здорова! Весела!» — если получались такіе отвѣты, онъ дышалъ полною грудью. Въ его печальной жизни—это была радость...

Еще за мѣсяць до сегодня Власовъ заручился согласіемъ жены и бабушки отпустить къ нему Лидочку на домъ.

— Я помню, что это его именины, сказала Марья Васильевна.—Когда-то мы весело проводили этотъ день.

И вотъ, пока молчаливый и сосредоточенный слуга приводилъ въ порядокъ скромную холостую квартиру своего барина, Сергѣй Петровичъ лежалъ на диванѣ и вспоминалъ прошлое.

Да, онъ все-таки былъ счастливъ... Не долго длилось это счастье, но все-таки... Они женились незадолго до его именинъ и у нихъ впервые собрались гости. Какъ была прелестна и проста его Маня! Какъ старалась она навести разговоръ на такіе вопросы, которые были пріятны *ему*;

какъ тонко и деликатно предоставляла она ему возможность рассказать какую-нибудь сценку, удачный анекдотъ. Она подчеркивала достоинства мужа. Она поклонялась ему и жаждала, чтобы всѣ слѣдовали ея примѣру.

Когда всѣ гости ушли и молодые супруги остались одни, Маня обняла мужа и, съ влажнымъ взоромъ, съ нѣжной улыбкой на устахъ, шепнула ему:

— Я никогда, никогда не забуду этого дня... Помнишь, милый, въ первый разъ мы видѣлись въ день твоихъ именинъ... Я тогда-же полюбила тебя... Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ и мы: мужъ и жена... Мы такъ счастливы! О, какъ мы счастливы...

«Догорѣли огни... облетѣли цвѣты»!

Притушилось впечатлѣніе; потухъ огонь въ крови; проза смѣнила поэзію; явился скучный долгъ и... наступила скука. Мужъ—работникъ уже не расточаетъ пылкихъ фразъ. На алтарь семьи онъ отдалъ всего себя, безъ остатка, и, безумецъ, считаетъ себя правымъ!... Но она и молода, и хороша... Ей хочется жить и наслаждаться; она остается *вѣрной женой* и за это имѣетъ право пользоваться всѣми радостями существованія...

«Другія имѣютъ по дюжинѣ поклонниковъ... другія возбуждаютъ ревность мужа... другія позволяютъ себѣ Богъ вѣсть что, а я... только хочу бывать въ обществѣ и имѣть приличный

туалетъ. У меня есть талантъ — я хочу играть на сценѣ. Меня выбрали въ члены благотворительнаго кружка и я должна бывать въ комитетѣ...»

За первую уступкою идетъ вторая, третья, а когда опомнишься... Семьи уже нѣтъ! алтарь разрушенъ и вмѣсто девиза съ надписью «долгъ», подъ которымъ соединились любящія сердца, торчитъ какой-то жалкій флагъ съ изображеніемъ минотавра и со знаменательнымъ, властительнымъ словомъ: «мода».

VIII.

Лидочка моя сегодня пріѣдетъ! Лидочка... сокровище!—шепчетъ Власовъ, взадъ и впередъ шагая по комнатѣ и подходя къ столу, гдѣ лежатъ приготовленныя для дѣвочки игрушки, фрукты, конфекты.

Сергѣй Петровичъ сѣздилъ купить закуски и вина для гостей, побывалъ въ нѣсколькихъ магазинахъ, чтобы добыть коробочку съ вышиваніемъ, которую Лидочкѣ такъ хотѣлось имѣть, и, не довѣряя ни градуснику, ни собственному ощущенію, спрашивалъ и торговцевъ, и извоцика, и швейцара:

— Холодно сегодня? Вѣтеръ сильный?

— Какое холодно! Помилуйте! На точкѣ замерзанія. Ни капли вѣтра... отвѣчали ему всѣ безъ исключенія.

Власовъ улыбался. Только морозъ и вѣтеръ могли помѣшать свиданію съ Лидочкой. Ее обѣщали привезти къ двѣнадцати часамъ; она будетъ завтракать. Гости явятся въ два часа, на пирогъ, а пока—все время принадлежитъ счастливому отцу. О, не даромъ онъ такъ лелѣялъ эту сладостную мечту... *Лидочка будетъ у него!*

Въ половинѣ двѣнадцатаго Сергѣй Петровичъ началъ волноваться.

Онъ нѣсколько заразъ глянулъ въ кухню, чтобы убѣдиться—хорошо-ли прожарена телячья котлетка для Лидочки, есть-ли бульонъ, молоко, бѣлый хлѣбъ. Все оказывалось въ порядкѣ. Власовъ самъ накрылъ столъ на два прибора, для Лидочки и для себя, поставилъ цвѣтушіе гяцинты, розу и, вообще, хлопоталъ какъ влюбленный.

Въ передней раздался звонокъ.

Власовъ бросился къ дверямъ, но жестоко разочаровался.

Вмѣсто Лидочки, явились гости, съ Зиновьевыми во главѣ.

Пирогъ, испеченный Анной Павловной, оказался готовымъ раньше, чѣмъ предполагалось и она хотѣла доставить его горячимъ.

Сергѣй Петровичъ былъ настолько смущенъ и растерянъ, что это бросалось въ глаза. Гости

весело и шумно разоблачались въ передней, а тѣ, которые вошли уже въ столовую, ощущали неловкость при видѣ стола, накрытаго на два прибора и украшеннаго цвѣтами.

Истые дѣти нашихъ дней, они предполагали, что помѣшали интимному свиданію... Однихъ это дѣйствительно смущало, другихъ—забавляло, какъ мотивъ пикантнаго анекдота.

Кровь хлынула въ голову Власова, когда онъ угадалъ, какая оскорбительная мысль могла мелькнуть у гостей.

Онъ посмотрѣлъ на присутствующихъ, соображая, *кого* удостоить объясненія, передъ кѣмъ произнести имя дорогаго существа.

Выборъ палъ на жену Зиновьева.

— А у меня сегодня большая радость, сказалъ онъ ей громко.—Ко мнѣ Лидочка придетъ завтракать, вотъ я и приготовилъ...

Анна Павловна и ея мужъ принадлежали къ числу старыхъ знакомыхъ Власова. Они все знали и, главное, понимали все.

Когда слуга сталъ накрывать завтракъ, Зиновьева настояла, чтобы столикъ съ двумя приборами и съ цвѣтами остался неприкосновеннымъ.

— Вы будете сидѣть съ Лидочкой, рѣшила она,—а я стану хозяйничать на большомъ столѣ. Хорошо?

— Спасибо вамъ... Вы—родная!

Но время шло, а Лидочки все не было.

Власовъ беспокоился, волновался и выбѣгалъ на улицу. Онъ не зналъ, что ему дѣлать, и рѣшительно не могъ объяснить причины отсутствія Лидочки. Еще вчера няня подтвердила ему обѣщаніе привезти Лидочку непременно...

Маскируя тревогу и какъ бича боясь утѣшеній, Сергѣй Петровичъ казался веселымъ. Подали закуску, завтракъ. Власовъ чокался со всѣми, но ничего не пилъ, незамѣтно выливая свою рюмку. Его волненіе и тоска—щемящая, мучительная тоска одиночества, когда вокругъ кипитъ жизнь—росла, ширилась и захватывала. Онъ отвѣчалъ на вопросы, улыбался, даже самъ говорилъ что-то, но все его вниманіе, весь интересъ сосредоточивался на одномъ:

«Отчего Лидочки все нѣтъ? Не захворала-ли?»

— Да пошлите вашего Ивана, пусть съѣздитъ!—пешнула Анна Павловна, чутьемъ угадывая его страданія.

Да, онъ такъ и сдѣлаетъ!.. Положимъ, до сихъ поръ онъ никогда не позволялъ себѣ посылать *туда*—слугу. Онъ самъ носилъ письма, самъ привозилъ обусловленное «содержаніе», но сегодня исключительное положеніе...

Отправивъ Ивана, Власовъ взглянулъ на часы. — Туда тридцать минутъ, назадъ столько-же... значитъ черезъ часъ и десять минутъ; теперь половина второго... Безъ двадцати въ четыре *она* можетъ еще пріѣхать... Вѣдь еще свѣтло будетъ? Неужели *он*надо мною не жалеются! Я такъ ждалъ

этого дня... такъ просилъ... Вѣдь это—мое единственное утѣшеніе!»!

Нѣсколькихъ словъ, написанныхъ на карточкѣ, было достаточно, чтобы понять душевное состояніе Власова, и онъ вѣрилъ въ ихъ силу.

— Ивинъ! Владиміръ Михайловичъ, мы ждемъ пѣнія!—сказала Зиновьева и всѣ подхватили ея вызовъ.

Ивинъ не заставилъ себя упрашивать. Онъ настроилъ гитару и мелодичные звуки огласили комнату.

IX.

Владиміръ Михайловичъ обладалъ небольшимъ голосомъ, но съ неподражаемою выразительностью и чувствомъ исполнялъ романсы и пѣсни. Новаго репертуара онъ не касался и черпалъ свои пѣсни изъ забытыхъ сокровищницъ русской поэзіи. Кто-то вспомнилъ «Ночи безумныя» и рыдающіе звуки пронеслись по комнатѣ. Смолкли споры и говоръ. Всѣ взоры обратились на пѣвца. Облагораживающая власть поэзіи и музыки сказала въ полномъ величіи.

Власовъ стоялъ у дверей, прислонившись къ косяку, вдали ото всѣхъ. Острая горечь смѣнялась глубокой, но какъ будто смягченной тоскою, какъ

у людей, никогда не плакавших, но вдруг ощущающих приливъ благодатныхъ слезъ.

Всѣ отдались пѣвучему настроенію; всѣ слушали, боясь проронить одно слово. На Власова не обращали никакого вниманія.

Ему стало легче. Надежда на свиданіе съ Лидочкой воскресла и оживила его.

«Была пора! Надеждъ и счастья полный,
Я въ даль глядѣлъ восторженно, свѣтло...»—

Пѣль Ивинъ и Сергѣй Петровичъ не вѣрили своимъ ушамъ... Это былъ его, его собственный романсъ, написанный въ тюрьмѣ, въ одиночномъ заключеніи, когда, разсѣявая грызущую тоску, онъ напѣвалъ его въ полголоса.

«Пора прошла»—пѣль Ивинъ, «надежды всѣ умчались, исчезли всѣ,—разбила ихъ судьба, и мнѣ, на вѣкъ, одни теперь остались: недугъ и вѣчная, бесплодная борьба!»

Снова, точно мрачный призракъ, встали воспоминанія и сердце сжалось отъ терзающей боли.

«Лидочка моя... Лидочка... Вотъ все, что осталось дорогаго... Лидочка, спаси меня отъ себя самаго... Лидочка... сокровище мое... я погибаю!..»

Власовъ, шатаясь, отошелъ въ уголь комнаты и опустился въ кресло. Въ глазахъ мутилось, мелькали радужные пятны

«Слезы всѣ выплакалъ, плакать все хочется,
Хочется снова любить...»

Ивинъ пѣлъ уже новый романсъ и Сергѣй Петровичъ чувствовалъ, что слезы подступаютъ къ его горлу, душатъ, давятъ и туманятъ зрѣніе.

Слуга возвратился раньше, чѣмъ его ожидали. Власовъ бросился въ переднюю.

— Ну, что-же?... Отчего ея нѣтъ? Здорова? дрожащимъ голосомъ спрашивалъ онъ.

— Здорова барышня... Совсѣмъ здорова... такія веселенькія. Очень просились со мною ѣхать. Даже заплакали... Только бабушка не пустила...

— Да отчего-же?... Отчего?

Иванъ отставилъ одну ногу впередъ и, заложивъ руку за спину, отвѣчалъ:

— Вы не извольте беспокоиться, Сергѣй Петровичъ, барышня здорова, а только... Марія Васильевна на репетицію уѣхавши, а безъ нихъ отпустить не смѣютъ...

— А раньше?... Развѣ она не распорядилась? Не сказала?

— Забыли... Нянюшка говоритъ, что спросить не смѣла, а сама барыня, значить, забыла... Очень сокрушалась даже нянюшка. Плакала барышня... просилась...

«Она забыла! Она—забыла, что отецъ ждетъ свиданья съ дочерью!!... Она—забыла, что этою мечтою я жилъ цѣлый мѣсяць... Она забыла»!...

Блѣдный какъ полотно, вернулся Власовъ къ гостямъ.

Пѣвецъ продолжалъ привлекать ихъ вниманіе

и только Зиновьева поняла ощущения Сергѣя Петровича, когда тотъ сѣлъ за маленькій столикъ, противъ мѣста, приготовленнаго для Лидочки и, залпомъ, стаканъ за стаканомъ, пилъ вино.

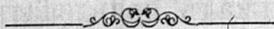
«Она забыла! Она—забыла!» стояло у него въ головѣ, и подъ звуки рыдающей гитары, подъ звуки ласкающей пѣсни Ивина, подъ звуки ободряющего шепота гостей—у Власова текли слезы безсильнаго отчаянья.

Зимнія сумерки давно сгустились, но огня не зажигали и никто не видѣлъ лица Власова. Онъ сидѣлъ облокотившись, склонивъ голову на ладонь лѣвой руки. Въ эти минуты онъ вторично хоронилъ свое счастье, свое блѣдное, крошечное счастье, и не находилъ ни слова извиненія для безсердечнаго поступка, для безкровнаго, но жестокаго преступленія Марьи Васильевны.

—Она забыла! Она забыла! О, скажите, гдѣ научаютъ нашихъ женъ забывать то, что онѣ *должны* помнить?! Гдѣ воспитываютъ въ нихъ ту утонченную жестокость, которой позабывалъ-бы самъ Неронъ? какъ стонъ вырва-гося изъ груди Власова, когда, на мгновенье, онъ очутился наединѣ съ Анной Павловной.— Вотъ она, *сила безсилья!*... Нѣжная и хрупкая, кокетливо-прекрасная, она играетъ роль страдальцы... а страдаетъ, въ сущности, только тотъ, кто въ наше проклятое время еще умѣетъ любить!

ПОПУСТИТЕЛЬ.

(Эскизъ.)



Захаръ Петровичъ Гридинъ лежалъ на турецкомъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ и лѣнливо курилъ сигару.

Въ обширной комнатѣ, устланной мягкимъ ковромъ и освѣщенной тремя лампами, царствовала приятная полутьма, такъ какъ китайскіе абажуры покрывали бѣлые колпаки и скрадывали свѣтъ. Въ полумракѣ таинственно вырисовывались очертанія массивной мебели, шкафовъ, экзотическихъ растений и тѣхъ дорогихъ бездѣлушекъ, которыми обычно спѣшатъ украшать свои квартиры разбогатѣвшіе люди.

Въ передней позвонили и Гридинъ нахмурился.

«Опять какой-нибудь надоѣдливый кліентъ изъ тѣхъ, которые, заплативши часть гонорара, считаютъ своимъ правомъ во всякое время являться къ адвокату и отравлять его существованіе», съ досадою подумалъ Захаръ Петровичъ, прислушиваясь къ звукамъ голосовъ, долетавшимъ до него.

Прошло нѣсколько мгновений.

Вошелъ слуга и подаль конвертъ.

— Повѣстку принесли, Захарь Петровичъ.

— Хорошо. Положи на столъ. Да вотъ что, Максимъ, если кто придетъ: дома меня нѣтъ. Слышалъ? Никого не принимать!

Максимъ беззвучно исчезъ. Гридинъ бросилъ потухшую сигару и потянулся.

«Какъ-бы хорошо заснуть теперь», думалось ему. «Проспать-бы часа два — три и встать свѣжимъ, бодрымъ, какъ бывало... Куда тамъ! Развѣ можетъ вернуться укрѣпляющій и восстанавливающій сонъ юности! И ночью-то не можешь заснуть какъ слѣдуетъ. Вертишься, злишься и только подъ утро забудешься. Да, вотъ и тишина, и покой, и всѣ удобства... А прежде-то. Шумъ, гамъ, крикъ въ сосѣдней комнатѣ, а тебѣ и горя мало: какъ ключъ ко дну. Помню, когда къ экзамену готовился, три недѣли по пяти часовъ въ сутки спалъ, а потомъ дня три безъ просыпу... Эхъ, славное было времячко... Странное дѣло! Тогда — о будущемъ все мечталось, а теперь... о, какъ-бы я хотѣлъ вернуть прошедшее!»

И многое изъ безвозвратно минувшаго вспоминалось Гридину въ томъ смягченномъ свѣтѣ, который придаетъ особую прелесть прошедшему, примиряетъ насъ даже съ горькими ощущеніями и придаетъ яркій колоритъ блѣднымъ радостямъ.

Захарь Петровичъ глядѣлъ на роскошную обстановку своего кабинета и думалъ о томъ далекомъ времени, когда онъ только что вступилъ на поприще адвокатуры и жилъ въ бѣдной квартиркѣ, на Пескахъ. вмѣсто письменнаго стола приходилось заниматься на ломберномъ; не было даже стульевъ порядочныхъ и если придетъ лишній гость — изъ кухни приносились бѣлые табу-реты.

Мечта купить вмѣсто кровати диванъ и хотя этимъ скрасить убогую обстановку кабинета молодого адвоката — лелѣялась цѣлый годъ...

Тогда Гридинъ трепетно внималъ каждому звонку и слово «клиентъ» возбуждало въ умѣ его рой ожиданій и надеждъ... Тогда онъ не приказывалъ говорить «дома нѣтъ», а напротивъ, отказывался отъ всякихъ развлеченій, и все ждалъ... ждалъ...

Какъ-то разъ случайный клиентъ не засталъ его дома и Гридинъ приходилъ въ отчаяніе, думая, что этотъ таинственный посѣтитель могъ составить его счастье. Цѣлую недѣлю просидѣлъ дома молодой адвокатъ, но случайный клиентъ такъ-таки и не явился.

Сколько разговоровъ, споровъ и мечтаній было по этому поводу! Вспоминались всякіе анекдоты, курьезные эпизоды, случайности и въ результатѣ явился выводъ: *надо сидѣть дома...*

Ожиданіе «клиента», а вмѣстѣ съ нимъ практики, богатства и славы всецѣло поглощало Гри-

дина. И не онъ одинъ мечталъ о грядущемъ благосостояннн... Нѣтъ, возлѣ него была милая, любящая женщина, отдавшая ему всю свою душу и страстно вѣрившая въ его талантъ.

— Погоди, родной, погоди... маленькое терпѣннє, говорила она ему въ минуты уныннн. — Если есть сила, она должна пробитья.

— Да, если она есть! — мрачно возражалъ Захаръ Петровичъ.

Молодая женщина не спорила и не доказывала. Она бросала на него такой краснорѣчивый взглядъ и улыбалась съ такимъ выраженнємъ затаеннаго торжества, что самый заклятый скептикъ увѣривалъ-бы въ себя.

А Гридинъ и тогда страдалъ современнымъ недугомъ. У него было до болѣзненности развито самоувереннє, и иногда онъ начиналъ порицать себя, иронизировать надъ собою, даже обвинять, что-бы только слышать изъ устъ Сонечки пылкія и восторженныя похвалы.

И какъ радовалась преданная Сонечка, когда появились первые признаки успѣха, какъ горячо поздравляла она молодаго оратора послѣ первой защиты, вызвавшей рукоплесканнн толпы.

Гридинъ былъ исключительно занятъ своею рѣчью. Сонечка слѣдила за слушателями, за присяжными, за судьями и, по ея убѣжденнымъ рассказамъ, выходило, что всѣ чуть-ли не сидѣли съ раскрытыми ртами...

Сначала Захаръ Петровичъ нѣсколько смущался, внимая восторженнымъ отзывамъ Сонечки, а затѣмъ сталъ принимать ихъ какъ должное и если молодая женщина осмѣливалась относиться критически — негодовалъ и подчеркивалъ ея необразованнє, отсутствнє чуткости.

Вмѣстѣ съ достаткомъ явились различныя потребности, прихоти.

Переуменная квартиры, шикарная обстановка и новыя знакомства налагали извѣстныя обязательства. Жить по прежнему, бѣдно, но душа въ душу, казалось «мѣщанскимъ счастьемъ». Кутить и прожигать жизнь вовсе не тянуло, но это считалось *нужнымъ*, поднимало въ глазахъ «кlientа», увеличивало предложеннн и даже влнело на гонораръ.

Съ чего начались неудовольствнн между нимъ и Сонечкой — Гридинъ рѣшительно не могъ вспомнить. Такъ какъ-то, съ пустяковъ... Ей не нравилась его беспорядочная жизнь... Она даже пророчила, что онъ «выболтается», если перестанетъ читать и работать. Начались сцены и упреки на почвѣ идеинаго несогласнн; явились неприятныя сопоставленнн между словомъ и дѣломъ...

«Конечно, ревновала бабенка, но сознаться не рѣшалась и потому напала на меня какъ на отступника, ренегата... А славная она была... да, славная! Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, многія любили меня, увлекались, но такой пре-

данности, такого сердечнаго отношенія—я не встрѣчалъ... И не встрѣчу!»

Глухой стонъ сорвался съ губъ Гридина, и онъ закрылъ глаза рукой.

Ему вспомнилась послѣдняя сцена, а за нею—разлука...

Все это случилось сгоряча, нелѣпно, подъ острымъ впечатленіемъ взаимнаго негодованія, когда они осыпали другъ друга гнѣвными восклицаніями, и только нѣсколько часовъ спустя могли сообразить, какъ грубо и оскорбительно было ихъ поведеніе.

— Тебя ослѣпляетъ и оглушаетъ эта легкая нажива! Ты потерялъ способность отличать бѣлое отъ чернаго, рѣзко сказала Сонечка.—Поступать такимъ образомъ...

— Довольно! прервалъ Гридинъ повелительнымъ тономъ. — Я не позволю, чтобы меня оскорбляли *въ моемъ домѣ!* Достаточно и того, что я изъ-за васъ испортилъ свою жизнь. Я никого не могу пригласить къ себѣ въ гости, благодаря дурацкому положенію...

Сонечка поняла тайный смыслъ намека. Еще нѣсколько дней тому назадъ Гридинъ рассказывалъ, что двѣ дамы хотѣли пріѣхать къ нему пить чай, но узнавъ, что онъ живетъ не одинъ—уклонились. За одной изъ дамъ Гридинъ слегка ухаживалъ и его обидѣлъ ея отказъ. Онъ надулся, пересталъ разговаривать съ Сонечкой, а сегодня, въ разгарѣ ссоры, рѣзко упрекнулъ ее.

Молодая женщина молча взглянула на Гридина, какъ-бы стараясь понять, не ошибалась-ли она, не бессознательно-ли вырвался у него этотъ жесткій укоръ, а Захаръ Петровичъ совершенно забылся и, съ чисто бабьей безпощадностью, высчитывалъ всѣ жертвы, принесенныя во имя ихъ незаконной любви.

— Еслибъ ты была моя жена, или наконецъ какая-нибудь пѣвичка, которою я могъ-бы похвастаться, а то... изъ-за чего, спрашивается, мнѣ стѣснять себя!

Сонечка безмолвно вышла изъ комнаты, а Гридинъ, сознавая свое безсиліе, захохоталъ ей вслѣдъ. Молодая женщина не обернулась, не заплакала, не остановилась. Она только поблѣднѣла еще больше и полчаса спустя исчезла изъ квартиры Захара Петровича.

Всѣ вещи, платья, всѣ подарки Гридина—все осталось на своемъ мѣстѣ. Скрылась только маленькая, худенькая, со впалую грудью женщина и вотъ она-то похитила сонъ блестящаго адвоката...

Какъ искалъ ее Гридинъ, какъ волновался, думая, что Сонечка рѣшилась на самоубійство!

Пока еще злоба кипѣла въ груди, онъ боялся только одного: скандала и обличительныхъ статей мелкой прессы. У него были кой-какіе счеты съ репортерами и онъ имѣлъ основаніе опасаться ихъ мести.

Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ столица Россіи— та-же глухая деревушка, гдѣ одно неосторожное слово можетъ превратиться въ сплетню, попасть въ газеты и запачкать доброе имя.

Цѣлую недѣлю терзался Гридинъ. Каждое утро онъ нетерпѣливо ожидалъ газетъ и когда кипа изданій лежала передъ нимъ не рѣшался развернуть «Сплетницу», или «Газра», боясь встрѣтить свое имя и имя Сонечки Акимовой... Ему даже мерещилось, въ какихъ выраженіяхъ стануть злословить его «трекпопѣчные импровизаторы» и чувствовалъ, какъ сжимаются его кулаки.

Прошла недѣля. Газеты молчали. Гридинъ бросился въ адресный столъ, въ полицію, къ немногимъ знакомымъ Сонечки. Никакихъ свѣдѣній. Молодая женщина точно въ воду канула...

Для Захара Петровича начались мучительныя бессонныя ночи. Днем онъ бравировалъ, смѣялся и шутя рассказывалъ о драматическомъ эпизодѣ, но едва онъ возвращался домой, въ свою квартиру, и ложился спать, какъ образъ блѣдной, несчастной Сонечки вставалъ передъ нимъ и прогонялъ сладкую дремоту.

Съ поразительною ясностью припоминалась всякая мелочь прошлаго, вставали такіе факты, которые симпатично обрисовывали личность Сонечки, или подчеркивали его эгоизмъ, жестокость, измѣну убѣжденіямъ. Въ ушахъ Захара Петровича

звучалъ голосъ нѣкогда милой подруги, вспоминалась ея улыбка, ея глаза...

Мѣсяць спустя Гридинъ встрѣтилъ приятельницу Сонечки.

— Не знаете-ли гдѣ Акимова?—спросилъ онъ небрежно.

— Она уѣхала въ деревню.

— Въ деревню? Куда? Зачѣмъ?

— Куда—не знаю, а зачѣмъ... Въ ея положеніи это самое лучшее, что она могла сдѣлать.

— То есть какъ это: въ ея положеніи? усмѣхаясь повторилъ Гридинъ. Собесѣдница вепыхнула отъ негодованія.

— Вы не знаете, что у нея чахотка и кромѣ того... Э, да не стоитъ вамъ и говорить!

Дѣвушка круто повернулась и ушла.

Гридинъ долго ломалъ голову надъ этими словами и минутами ему становилось жутко и тяжело на душѣ.

Но какъ благоразумный человѣкъ, онъ спѣшилъ прогнать непріятныя догадки и разсѣять тревожныя ощущенія.

Зачѣмъ волновать себя? Если что-нибудь «такое» должно случиться, то чтоже дѣлать!... Э, да всегда успеешь узнать дурное, а вотъ хорошимъ надо пользоваться...

И Гридинъ широко наслаждался жизнью, не щадя ни здоровья, ни денегъ... Всѣ его любили и уважали, даже товарищи-неудачники, которыхъ онъ охотно выручалъ въ трудныя минуты. Барыни,

всегда поклоняющіяся «извѣстностямъ», въ какой-бы сферѣ они ни встрѣчались, удесятерили его успѣхъ своею восторженною болтовней, а «клиентъ» валомъ-валиль, привлекаемый и рекламой и слухами.

Успѣхъ Гридина дошелъ до апогея, а между тѣмъ адвокатъ не испытывалъ нравственнаго удовлетворенія. Что-то скоблило его душу, заставляло нервничать и съ особенною озлобленностью нападать на зеленую молодежь, еще не покинувшую своего девиза, еще вѣрующую и, главное, возбуждающую довѣріе.

Захаръ Петровичъ съѣздилъ за границу и, вернувшись, сталъ слегка иронизировать надъ матушкой Русью, приводя въ примѣръ Европу. Онъ имѣлъ теперь обширное знакомство, велъ большую игру, бралъ только крупныя дѣла и дѣлалъ подарки только особеннымъ красавицамъ.

Гридину всѣ завидывали, а все-таки онъ не былъ счастливъ... Маленькая женщина со впалой грудью похитила его сонъ, и, время отъ времени, появлялась передъ нимъ въ минуты сладостной дремоты, появлялась—и сонъ исчезалъ какъ по мановенію жезла волшебницы.

Все это припомнилось Захару Петровичу сегодня, пока онъ лежалъ на диванѣ, въ своемъ кабинетѣ.

Много лѣтъ прошло со дня исчезновенія Сонечки, но кто не испыталъ какою живучестью обладаютъ печальныя впечатлѣнія?... Гридинъ не забылъ подруги своей юности и иногда, наслаж-

даясь острымъ моментомъ славы, говорилъ, мысленно обращаясь къ блѣдному призраку:

«Выболтаюсъ? Да? Посмотрѣла-бы ты на меня теперь! Какъ жаль, что все это такъ случилось... Какъ-бы она порадовалась за меня!»

II.

Не взирая на строгое преказаніе Гридина никого не принимать, въ кабинетъ адвоката ворвалась молодая и красивая дѣвушка, въ нарядномъ и изящномъ костюмѣ, сіяющая здоровьемъ и веселостью.

Юлія Михайловна Ларская (такъ звали гостью) остановилась въ дверяхъ и всматривалась, прищуривъ глаза, гдѣ находился хозяинъ.

— Захаръ Петровичъ! Захаръ Петровичъ! Да неужели-же вы спите! Это ни на что не похоже.. Захаръ Петровичъ...

— Мое почтеніе, Юлія Михайловна. Какими судьбами вы здѣсь?

— Вы вѣроятно хотите узнать, какъ удалось мнѣ побѣдить вашего цербера?—смѣялась Ларская, пожимая руку Гридина и опускаясь въ кресло:— Да, не легко.. Онъ снялъ съ меня настоящій допросъ, ха, ха, ха!.. даже «съ пристрастіемъ»

заставил поклясться, что я не клиентка и не питаю зловредныхъ идей!. Хорошо, что у меня есть завѣтный ключъ, отпирающій всѣ сердца, а то пришлось-бы уѣхать...

— Ужъ будто *всѣ* сердца, Юлія Михайловна?

— Конечно! Сердце вашего цербера можно размягчить трехрублевой депозиткой, а ваше — десяти-тысячнымъ банковымъ билетомъ. Разница въ формѣ, а не въ сущности!

Гридинъ отрицательно покачалъ головою.

Язвительныя насмѣшки, колкости и шутки хорошенькой женщины забавляли Захара Петровича и онъ очень любилъ поболтать съ Ларской, завоевавшей себѣ въ обществѣ славу *enfant terrible*.

— Развѣ я не права? Нѣтъ? Нѣтъ? приставала Жюли. Развѣ вы, предающійся лѣни и отдыху, а можетъ быть даже мечтамъ, не согласитесь сейчатъ-же принять самаго надоѣдливаго клиента, если онъ предложитъ вамъ крупный гонораръ?

— Вы должны глубоко презирать меня, Юлія Михайловна, если высказываете подобное мнѣніе.

— Нисколько! Вы не хуже, но и не лучше другихъ.

— Давно-ли вы стали пессимисткою?

— Не обижаюсь, хотя понимаю: вы хотѣли уколоть меня! Нѣтъ, я не заражена пессимизмомъ, а только... только...

— Что только?

— Люблю разлагать мнѣнія и поступки людей на составныя части, вникать: почему именно сдѣлалъ человѣкъ то, или другое. Увѣряю васъ, это очень интересно и назидательно.

— Воображаю!... Главное, это должно быть весьма пріятно..

— Почему?

— Полная свобода выводить заключенія по своему вкусу. Положимъ, вамъ особенно любезно и почтительно поклонился какой-нибудь господинъ но вы находитесь въ нервномъ состояніи и *«раскладывая его поступокъ на составныя части»*, рѣшаете, что N. N. питаетъ къ вамъ вражду, что онъ оклеветалъ васъ, сдѣлалъ вамъ много вреда...

— А, это вы опять про Коврайскаго! — со смѣхомъ перебила Жюли. — Напрасно! Правда на моей сторонѣ. Что я предполагала, то и случилось. Коврайскій принадлежитъ къ такимъ людямъ, которые мягко стелятъ, но жестко спятъ бываетъ.

— Если вы имѣете доказательства — я умолкаю...

— Вы не хотите мнѣ вѣрить, Захаръ Петровичъ, а между тѣмъ мнѣ, право, самой бываетъ досадно за свою проницательность. Смотришь на человѣка, слушаешь его рѣчи, и въ то-же время какъ въ зеркалѣ видишь его лицемѣріе, ложь, знаешь, *изъ-за чего* дѣлаетъ онъ то или другое.

— Но вы положительно опасный собесѣдникъ!

— Для тѣхъ, кто становится на ходули—да, пожалуй.

— А я становлюсь на ходули, какъ по вашему?

— Вы?... Не-мно-жеч-ко! протянула Жюли.— Хотя у васъ бываютъ порывы искренности...

— Много благодаренъ. Лучше ужъ порывы, чѣмъ ничего...

Юлія Михайловна не слыхала выраженія его насмѣшливой признательности. Она сдѣлалась серьезна и, какъ-бы порицая кого-то отсутствующаго, продолжала:

— У насъ, у всѣхъ безъ исключенія, замѣчательно мало искренности, замѣчательно! Я возьму пустой примѣръ: кто изъ насъ не любитъ посплетничать, позлословить на счетъ ближняго? А послушайте, какъ тѣ-же болтуны горячо порицаютъ сплетню, какъ они считаютъ ее исключительною принадлежностью женщинъ... Самибудто ни-ни! Затѣмъ, какъ любить каждый врываться въ чужую жизнь, узнавать всякіе отрицательные факты, а потомъ колоть ими глаза... *Своей* жизни, *своего* прошлаго—касаться не желаютъ, а на прошломъ ближняго, какъ на оселкѣ, пробуютъ остроту своего язычка. Зачѣмъ это? Отчего?...

«На проклятые вопросы дай отвѣты намъ прямые» — продекламировалъ Гридинъ. — Я удивляюсь, Юлія Михайловна, какъ вы, вы можете интересоваться подобными вещами. Жизнь!...

— Развѣ этотъ ярлычекъ объясняетъ чтонибудь? Фраза, не больше!

И Ларская рассказала ему печальный эпизодъ изъ своей жизни. Ея голосъ дрожалъ и порывался, когда она касалась нѣкоторыхъ наиболѣе тяжелыхъ моментовъ, и Гридинъ горячо сочувствовалъ собесѣдницѣ, понимая, какія терзанія переживала она.

Несложна была драма, выстраданная Ларской.

Жюли было 17 лѣтъ, когда ей понравился Коневъ, Алексѣй, учитель гимназіи. Онъ посѣщала домъ ея родителей и черезъ два—три мѣсяца послѣ перваго знакомства, сдѣлалъ предложеніе любимой дѣвушкѣ. Женихъ и невѣста были вполне счастливы. Незадолго до свадьбы пріѣхалъ младшій братъ Алексѣя, Валеріанъ, художникъ, даровитая, увлекающаяся натура, и безъ памяти влюбился въ Жюли.

Алексѣй ревновалъ, мучился, доходилъ до отчаянья.

Онъ любилъ брата и страстно желалъ ему счастья, но еще больше любилъ свою невѣсту...

— Въ одинъ прекрасный вечеръ, какъ говорятъ романисты,—стараясь улыбнуться, продолжала Жюли,—Алексѣй сдѣлалъ мнѣ сцену ревности, прямо спросивъ, кого я люблю: его, или Валеріана... Я отвѣчала: Валеріана... Это было жестоко, безчеловѣчно, знаю, знаю, но я не могла сказать иначе...

— Вполнѣ понятно! Вы сказали правду...

— А что изъ этого вышло, что вышло!... — качая головой прошептала Жюли:— Валеріанъ застрѣлился. Онъ не могъ помириться съ мыслью, что разбилъ счастье Алексѣя, а тотъ, бѣдный, славный... онъ умолялъ Валеріана жениться на мнѣ... Онъ меня умолялъ...

— Вы не согласились?

— Принять такую жертву—не хватило силъ. А потомъ я возненавидѣла Алексѣя, считала его виновникомъ смерти брата и высказала ему все это въ глаза...

— Такъ въ чемъ-же ваше раскаянье, Юлія Михайловна? Вы были правы!

Молодая женщина крѣпко стиснула руки.

— Это-то и ужасно, прошептала она,—это-то и мучительно! Здѣсь, по разуму, я совершенно права, а по душѣ, по сердцу... Мнѣ не забыть и не забыть своей вины. Можетъ быть, мнѣ слѣдовало скрыть отъ Алексѣя печальную правду, сдѣлаться его женою и свято исполнять свой долгъ...

— Другими словами, совершить нравственное самоубійство!

Юлія Михайловна заговорила такимъ надтреснутымъ голосомъ, что Гридинъ съ глубокимъ сочувствіемъ взглянулъ на нее.

— Нѣтъ, Захаръ Петровичъ, оставьте фразы. Я къ вамъ пріѣхала, какъ къ другу, какъ къ хорошему человѣку... Помогите мнѣ! У меня много знакомыхъ, милыхъ и умныхъ людей, но...

я ни къ кому изъ нихъ не хочу обращаться; мнѣ дѣлается холодно, когда я говорю съ ними, а вы... въ васъ есть нѣчто, подсказывающее мнѣ, что вы страдали... Вы испытали, вѣроятно, мучительный, надрывающій силы разладъ между умомъ и сердцемъ, и вы мнѣ поможете.

— Юлія Михайловна, я...

— Погодите! прервала она.—Только одно: Бога ради, не повторяйте мнѣ избитой фразы, «что совѣты давать нелѣпо», etc. Все это я, повѣрьте, знаю и безъ васъ и если обращаюсь—значитъ жутко пришлось!

— Вы угадали. Я, дѣйствительно хотѣлъ напомнить, что совѣты выслушиваются, для того чтобы имъ не слѣдовать и, кромѣ того... Я не имѣю *нравственного* права давать ихъ вамъ.

— Отчего? Не понимаю!

— Оттого, Юлія Михайловна, что у меня на душѣ лежитъ тяжелое преступленіе, да... именно преступленіе... Безкровное убійство... хуже, злоупотребленіе силой надъ слабымъ... любящимъ существомъ, глухо закончилъ Гридинъ, хрустнувъ пальцами.

Нѣсколько мгновений Ларская молчала.

— Вы лучше и теплѣе, чѣмъ я думала, промолвила она.— Тотъ, кто можетъ раскаяться, еще не погибъ нравственно.

— Ахъ, что въ этомъ позднемъ и горькомъ раскаяньи! Презрѣніе къ себѣ и больше ничего...

Изъ всѣхъ текстовъ, я помню съ любовью только одинъ: «Вѣра безъ дѣлъ мертва есть»!

— О, какъ это хорошо сказано! А я забыла его... Да, да вѣра безъ дѣлъ—мертва... Какой глубокой, чудный смыслъ... какой урокъ для насъ, все и вся забывшихъ въ гонѣннѣ за наслажденіями. Можетъ быть нечаянно, но вы указали мнѣ путь исхода... Слушайте меня, Захаръ Петровичъ... Забудьте наши свѣтскія отношенія, забудьте, что вы и я—мы люди разнаго пола, характера, возраженій, и отнеситесь ко мнѣ, какъ добрый пріятель. Поймите весь ужасъ положенія *человѣка*, когда въ минуту душевнаго угнетенія онъ хочетъ найти сочувствіе и, оглядываясь на сотни своихъ знакомыхъ, ни въ комъ, ну, рѣшительно ни въ комъ не видитъ способности отнестись искренно, просто, по братски, безъ тайной цѣли продать на рынкѣ людскаго любопытства вашу больную, горькую исповѣдь...

— Если вы мнѣ не вѣрите—не говорите... Но я не продамъ...

— Знаю, вѣрю, иначе бы не обратилась.

И Ларская рассказала, что терзаетъ ее.

Алексѣй Коневъ, оскорбленный въ самыхъ лучшихъ вѣрованіяхъ, потерявшій и нѣжно любимого брата, и невѣсту, которую онъ обожалъ, медлительно умиралъ, сраженный недугомъ. Онъ жилъ на благословенномъ югѣ, но даже ласкающіе лучи солнца, даже чарующій плескъ волнъ чуднаго Чернаго моря не убаюкивали его боль-

ной души. Его взоры были обращены на сѣверъ. въ холодный, чиновный Петербургъ, гдѣ, затерявшись среди миллионнаго населенія, находилась она, горячо любимая имъ дѣвушка.

Ни писать къ ней, ни просить свиданія онъ не могъ.

Жюли назвала его убійцей, жалкимъ эгоистомъ... а онъ.. онъ оттого и умиралъ, что не умѣлъ любить себя болѣе, чѣмъ ближняго...

Коневъ сознавалъ, что правда, и разсудочная и сердечная, была на сторонѣ Жюли; онъ уважалъ Ларскую за ея прямоту и правдивость, но... онъ умиралъ отъ тоски, отъ признанія своей ненужности, отъ ударовъ судьбы, шагъ за шагомъ отнявшей все милое, желанное, дорогое.

Жюли узнала, какія страданія испытываетъ Коневъ, какъ несчастенъ и одинокъ этотъ богатый, окруженный друзьями челоѣкъ, какъ горестно проводитъ онъ послѣдніе, быть можетъ, мѣсяцы своего существованія.

Геройская рѣшимость проснулась въ ея сердцѣ.

Бѣжать туда, на югъ, гдѣ томится несчастный, и, позабывъ о себѣ, посвятить ему свои силы, работы, нѣжность и дружбу.

Но Ларская была богата.

У нея были профессиональные совѣтники и совѣтницы въ видѣ дядюшекъ и тетушекъ, были официальные доброжелатели въ видѣ друзей и пріятелей покойныхъ родителей, были, наконецъ, папаши и мамыши, чающіе для своихъ

сынковъ выгодной партіи, и самые сынки и сестрицы, стремившіеся «присосаться» къ капиталу будущей жены или belle soeur, и, прежде чѣмъ Жюли рѣшилась высказать свое намѣреніе, ей стали говорить:

— Конечно, ты не позволишь себѣ сдѣлать такой глупости! Это значило-бы подвергнуть себя нареканію... Скажутъ, что тебѣ *нужно* выйти замужъ... Вспомни, благодаря твоей свободѣ поведенія, и то рассказываютъ...

Жюли избѣгала бесѣдъ съ роднею, но тѣмъ не менѣе колебалась, не зная, какъ Коневъ пойметъ ея поступокъ.

Сдѣлать хорошее дѣло и встрѣтить подозрѣніе въ хитрости или корысти — что можетъ быть тяжелѣе для гордой природы, неспособной унижаться до оправданій!

— Я хочу поѣхать въ Ялту, заключила дѣвушка свой рассказъ.—Пусть думаютъ, что желаютъ... Я хочу успокоить себя, снять съ души мучительный укоръ... Я буду ухаживать за *нимъ* и, если моя любовь, моя преданность еще нужны ему—я... я... исполню свой долгъ.

— Юлія Михайловна! воскликнулъ Гридинъ:— Юлія Михайловна, подумайте хорошенько... тысячу разъ взвѣсьте все... То, что вы хотите сдѣлать — великій, хотя и незамѣтный подвигъ... Знаете, такимъ поступкомъ вы можете или убить человѣка, или... воскресить его, вдохнуть силы жить.

— Пусть живетъ, о, пусть, пусть живетъ! Я буду такъ счастлива...

— Вы его любите?

Ларская вздохнула.

— Къ несчастію, нѣтъ... не люблю!... Тотъ... Валеріанъ... стоитъ между нами...

— Но въ такомъ случаѣ, вы создадите для себя ужасное положеніе. Подумайте, ваша нѣжность, ваша героическая ложь оживитъ его, и вотъ, вы—жена человѣка, котораго любите не въ силахъ... И такъ пойдутъ годы... годы... Знаете, можно совершить какой угодно подвигъ самоотверженія, но чтобы онъ продолжался сравнительно краткій періодъ: недѣлю, мѣсяць даже. Но годы... годы...

— Я объ этомъ думала, Захаръ Петровичъ, и пришла къ заключенію, что выдержу... больше, сживусь... *заставлю себя полюбить Алексѣя*.

— Но развѣ любовь повинуется...

Ларская перебила его горячимъ восклицаніемъ.

— Вы напрасно считаете этотъ поступокъ героическимъ! Во первыхъ, мною руководитъ эгоистическое желаніе найти успокоеніе, а во вторыхъ... Ахъ, Захаръ Петровичъ, вы болѣе чѣмъ кто либо должны понимать меня. Вы обладаете славой, извѣстностью, средствами и общимъ уваженіемъ, у васъ есть всѣ права на счастье, но развѣ вы... счастливы?

— Нѣтъ, я несчастливъ! рѣзко отвѣчалъ онъ и, взявъ со стола повѣстку, принесенную слугой,

распечаталъ ее и пробѣжалъ глазами содержаніе. Сущность ея была не интересна.

Гридина назначили защищать какую-то дѣвушку, обвинявшуюся въ кражѣ. Дѣло должно было состояться черезъ недѣлю и не представляло ничего стоившаго вниманія. Адвокату показалось даже забавно, что въ ту минуту, когда Ларская говорила о его славѣ и извѣстности, ему, въ силу обычая, поручали такое пустячное дѣло.

«Эту защиту могъ-бы взять новичекъ-помощникъ», думалъ онъ, «но, конечно, во имя принципа—я не откажусь и не передамъ какъ другіе. Но вотъ бѣда: съ завтрашняго дня мнѣ придется всю недѣлю защищать Косичкина, обвиняющагося въ растратѣ. Не успѣешь повидаться съ подсудимой. Но вѣдь дѣло пустое... Да, да, права Ларская... я — несчастливъ... и у меня, какъ у нея, тяжелый укоръ на совѣсти...»

И Гридинъ съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ рѣчь Жюли.

— Я рада, что вы сознались, продолжала молодая дѣвушка.—Другіе, большинство по крайней мѣрѣ, рисуются всѣмъ. Одни хвастаются своимъ счастьемъ, другіе словно, напрашиваясь на сожалѣніе, щеголяютъ бѣдностью, неудачей и т. д. А я... я скажу вамъ, что мы съ вами находимся почти въ равныхъ условіяхъ. Я тоже обладаю счастьемъ, но... показнымъ, женскимъ счастьемъ. У меня есть имя, связи, богатство,

есть красота и образованіе, есть люди, готовые сейчасъ предложить себя въ мужья. Словомъ, всего, чѣмъ можетъ обладать дѣвушка въ моемъ положеніи—я достигла, даже свободой обладаю... Но въ то же время—я несчастлива! У меня нѣтъ такого человѣка, для котораго я была-бы дороже всего на свѣтѣ, который съ гордостью и любовью слѣдилъ-бы за моими успѣхами, нѣтъ существа, во имя котораго я, не задумываясь, отдала-бы жизнь, нѣтъ маленькаго сердца, которое любовно относилось-бы ко мнѣ, не взирая на всѣ мои недостатки... Я говорю о ребенкѣ, о той поэзіи жизни, которую вносить въ домъ звонкій смѣхъ малютки, говорю о семьѣ... И чѣмъ полнѣе кажется наше показное счастье, Захаръ Петровичъ, тѣмъ больнѣе душевное одиночество. Значитъ не подвигъ хочу я сдѣлать, нѣтъ, это опять вѣковая ложь... невольный обманъ... Я стремлюсь загладить свою вину но, какъ современный человѣкъ, торгуюсь съ судьбою, желая получить счастье спокойной совѣсти и право любить того, кто страдалъ изъ-за меня...

— Славная вы... хорошая... да, да, поѣзжайте и дай вамъ Богъ полнаго счастья!—съ сердечнымъ порывомъ сказалъ Гридинъ, когда Ларская передала ему различныя подробности. — Вы стоите счастья, да и онъ... онъ выстрадалъ вашу любовь. Такіе люди *умѣютъ* дорожить чувствомъ. Они не промѣняютъ истинной любви на фразу... *не выболтаются!*

Горечь звучала въ послѣднемъ словѣ Гридина. Это было самобичеваніе; это было признаніе своей вины... Но Ларская не поняла настроенія собесѣдника. Такъ далеко не могла заходить проницательность чуткой дѣвушки.

— Оттолкнуть человѣка легко, сказала она между прочимъ, но заслуживъ любовь, сохранить ее, ой, какъ трудно! Повѣрите-ли, что въ эти два-три года, присматриваясь къ жизни, я не видѣла истиннаго чувства... а во имя одного душевнаго движенія, во имя одного слова правды, хотя и жестокой, но все таки правды, можно много простить...

— Да! Вы такъ думаете? Ну, а если, если близкій, дорогой человѣкъ обидѣлъ васъ... насмѣялся... если бросилъ упрекъ въ измѣнѣ убѣжденія, въ поклоненіи Ваалу, можно простить, забыть, вспоминать безъ горечи бывшее?

— Если упрекъ исходилъ изъ души... если не было иной цѣли, если не корысть, не злоба толкали на оскорбленіе, если упрекая, человѣкъ испытывалъ страданіе... О, конечно, конечно. Вѣдь любовь диктовала эти укоризны!

Осторожно, словно боясь разбередить болѣзненную рану, Гридинъ, впервые за семнадцать лѣтъ, коснулся пережитой драмы, онъ говорилъ намеками и обходилъ нѣкоторые вопросы, но дѣвушка чутьемъ угадывала недосказанное и являлась ярой защитницей того существа, которое любило

съ беззавѣтною преданностью и желало сохранить право уважать близкаго человѣка.

Гридинъ и Ларская разстались какъ друзья.

— О еслибъ я могъ найти ее опять! сорвалось у него съ губъ, — какимъ обожаніемъ я окружилъ-бы это бѣдное, милое, любившее меня существо, съумѣвшее дать мнѣ счастье... Одинъ... одинъ, вѣчно одинъ хотя живешь на людяхъ.

III.

Гридину не удалось повидаться съ подсудимой до дня суда.

Сначала помѣшалъ процессъ Косичкина, а потомъ его захватила волна привычной жизни. Нужно было заѣхать туда, сюда, показаться въ клубъ, въ балетъ, на бенефисъ Цукки, послушать Мазини, посѣтить пять-шесть вечеринокъ, словомъ — было некогда.

Никуда въ сущности ѣхать не хотѣлось, но всеильное, хотя и нелѣпое, *нужно*, висѣло какъ Дамокловъ мечъ, заставляя повиноваться условнымъ приличіямъ.

Наканунѣ засѣданія Захаръ Петровичъ розыскалъ въ кипѣ бумагъ, покрывавшихъ его столъ, повѣстку изъ суда, и съ удивленіемъ замѣтилъ, что имя и фамилія его кліентки: Софія Акимова.

«Какое странное совпаденіе!» — мелькнуло въ его головѣ. — «Софія Акімова, шестнадцать лѣтъ. Впрочемъ, такая банальная фамилія... ничего удивительнаго»...

Воспоминанія и укоры совѣсти навѣянные въ тотъ вечеръ, когда онъ находился въ угнетенномъ состояніи, успѣли разсѣяться. Сутолока столичной жизни обладаетъ свойствомъ затуманивать мозгъ человѣка, какъ наркотическое средство и нуженъ какой нибудь новый толчекъ, чтобы заставить всколыхнуться душу современнаго человѣка, предающагося заботамъ о своемъ личномъ спокойствіи, какъ объ вопросѣ первой важности.

Наступилъ день суда.

Небрежно, но изящно одѣтый, съ откинутыми назадъ, слегка сѣдѣющими кудрями, довольный, съ бодрымъ видомъ дѣльца, хорошо выспавшагося послѣ вкуснаго и сытнаго ужина, въ веселой компаніи, вошелъ Гридинъ въ залъ перваго отдѣленія.

Его обступили товарищи и знакомые; съ нимъ кокетливо болтали хорошенькія женщины, явившія послушать рѣчь оратора; возлѣ него суетились стенографы и стенографистки, заранѣе выпрашивая защитительную рѣчь, которая будетъ украшать на завтра всѣ газеты, а онъ, какъ избалованная пѣвица, улыбался, сыпалъ островами, отшучивался и, съ тою неволью увеличивающеюся гордостью, которая растетъ вмѣстѣ съ из-

вѣстностью, свысока обращался къ молодежи, подобострастно льнувшей къ нему.

Гридинъ перекинулся двумя словами съ судебнымъ приставомъ, и тотъ услужливо засмѣялся въ отвѣтъ на заявленіе адвоката, что онъ не успѣлъ видѣться съ кліенткой.

— Дѣло-то пустяковое. Кража денегъ изъ стола, но безъ взлома... Всѣ обстоятельства за подсудимую. Мать была при смерти, а денегъ ни гроша, ну, дѣвочка и украла. Оправдаютъ, а какая, прелесть! Сознается и все расскажетъ.

Гридина позвали въ кабинетъ предсѣдателя по другому дѣлу и, когда онъ вернулся въ залъ засѣданія, подсудимая сидѣла на скамьѣ обвиненія.

Захаръ Петровичъ чуть не вскрикнулъ отъ удивленія.

Въ углу скамьи, съ бѣлымъ платочкомъ на головѣ, сидѣла прелестная дѣвушка съ гордымъ профилемъ прекрасно очерченнаго лица, блѣдная, съ глубокими синими глазами и пушистыми рѣсницами.

«Боже мой, до чего она похожа на Сонечку... на мою бѣдную Сонечку!» — пронеслось въ его головѣ. «Мыслимъ-ли такое разительное, невѣроятное сходство! Таже родинка на лѣвой щекѣ... таже кроткая усмѣшка на губахъ!»

Когда Акімова заговорила, отвѣчая на вопросъ о виновности, когда начала рассказывать избитую и, быть можетъ, до оскомины надоѣвшую, но строго правдивую, повѣсть жизни бѣд-

ной брошенной женщины съ ребенкомъ на рукахъ,—всѣ слушатели и зрители жизненной драмы затаили дыханіе.

Ея голосъ, ея! Таже легкая картавость, такъ нравившаяся мнѣ въ первое время... Господи, что-же это! Неужели-же?»

И Гридину вспомнились слова подружки Сонечки о ея «положеніи», вспомнились пустяковыя подробности въ періодъ послѣдняго времени, вспомнилось измѣненіе характера Сонечки, ея слезы, которыя онъ объяснялъ ревностью, и жутко, холодно стало на душѣ дѣльца.

Онъ не смѣлъ взглянуть на свою клиентку, но понималъ, что всѣ симпатіи обращены на это несчастное, безправное дитя совершившее преступленіе, чтобы прокормить и полечить свою незаконную, но самую лучшую, самую нѣжную изъ матерей.

Насталъ перерывъ.

Судьи, присяжные, публика, всѣ спѣшили воспользоваться минутой отдыха и устремились прочь изъ залы. Гридинъ остался на своемъ мѣстѣ.

— Скажите, прерывающимся голосомъ спросилъ онъ,—какъ звали вашу мать?

— Софія Ивановна Акимова!—спокойно отвѣчала дѣвушка, поднимая на него чистые, какъ небо, лучистые прелестные глаза.

— А вашего отца?

Дѣвушка смутилась и поникла головой.

— Отца у меня не было...

— Но ваша мать... она не говорила... Не упоминала передъ смертью, по крайней мѣрѣ?

— Да, говорила... Но я не признаю... Не хочу... Онъ оскорбилъ мою мать... Она умирала отъ голода.

— Кто онъ?—произнесъ Гридинъ, а въ этомъ вопросѣ было что-то властительное и суровое.

— Я не хочу называть его имени... Я не признаю родства съ такимъ безсердечнымъ человѣкомъ. Пятнадцать лѣтъ моя мать работала, не складывая рукъ и надрывалась. Онъ не вспомнилъ... не позаботился. Она умерла, не попросивъ его помощи, зачѣмъ-же я стану нарушать ея волю... Не надо!

Тотъ-же гордый тонъ, тотъ-же смѣлый поворотъ головы, та-же сила выраженія!

Да, это его дочь, его дитя... А онъ, одинокій богачъ, онъ не смѣетъ признаться и протянуть руку; онъ, жаждущій не лицемѣрной любви, недостойнъ привлечь къ себѣ на грудь дитя его погибшей подружки!

Онъ не понималъ тогда, что творилось воеругъ него... Онъ увлекался романами и драмами, онъ ухаживалъ за пѣвицами и актрисами, являлся защитникомъ чужихъ женъ, а въ своей семьѣ просмотрѣлъ трагедію. Онъ не далъ себѣ труда заглянуть въ душу Сонечки, онъ, щеголявшій психическимъ анализомъ!

О, какая горькая, горькая насмѣшка судьбы! Какое справедливое, но жестокое, наказаніе!

Онъ не умѣлъ любить и ему платять не злобою, но оскорбительнымъ недоверіемъ.

Засѣданіе возобновилось.

Шагъ за шагомъ, правдиво и просто, передала подсудимая всю жизнь своей матери, съ того момента, какъ она разсталась съ близкимъ человекомъ.

Дѣвушка не сказала: «съ моимъ отцомъ», но всѣ и безъ словъ поняли это. Бѣдная женщина уѣхала въ деревню къ своей кормилицѣ въ простую избу, и здѣсь работала какъ учительница крестьянскихъ дѣтей, какъ швея модницъ-крестьянокъ, извѣдавшихъ прелесть турнюровъ и басокъ.

Ея дочь росла. Нужно было давать ей образованіе, и Акимова переѣхала въ столицу.

Одинокая, безъ средствъ, она занимала жалкій уголь, шила рубашки на рынокъ, а Соню, чистенько одѣтую и сытую, посылала въ школу.

Что ѣла и пила сама несчастная мать—дѣвочка узнала только передъ смертью изстрадавшейся работницы, но не имѣла ни силъ, ни возможности облегчить положеніе мамы, накормить ее, купить лекарство. Испытавъ сытое безсердечіе состоятельныхъ людей, Сонечка сознательно совершила кражу денегъ...

Она не могла сдѣлать подвига добродѣтели во имя своей любви и обожанія къ мамѣ, но она принесла на алтарь этой любви... преступленіе.— Она боролась съ отвращеніемъ передъ кражей и побѣдила себя.

Въ этотъ моментъ ея чистая, нѣжная душа была переполнена ненавистью и злобою ко всѣмъ, кромѣ мамы, и одному—мстила она за все безсердечное, холодное общество, на глазахъ котораго ежедневно умирають оскорбленные, несчастные и голодные люди.

Голосъ дѣвушки то звенѣлъ, какъ надорванная струна, то понижался до тихаго шепота, и вся зала замерла. Слезы выступили на глазахъ публики... но увы, не тѣ святые слезы, которыя рождаютъ любовь, а слезы нервной развинченности, заставляющей людей рыдать въ театрѣ на представленіи раздирательной драмы, а возвратившись домой, взаимно отравлять существованіе.

Невѣроятныя терзанія испытывалъ Гридинъ, внимая чистосердечному разсказу подсудимой.

Лично о немъ никто не говорилъ, но каждое слово «преступницы,» всякій вопросъ предсѣдателя или старшины больнѣе отравленнаго ножа колели его сердце.

Никто не зналъ, что *попустителемъ* гибели женщины и ребенка явился онъ, знаменитый адвокатъ, былой либераль и современный практикъ, но—Богу слава—совѣсть еще не совсѣмъ исчезла изъ обращенія въ концѣ XIX вѣка!

Отъ опроса свидѣтелей стороны отказались.

Провѣрять показанія преступницы являлось напраснымъ.

Она такъ жизненно правдиво передала сцену воровства, что даже у скептица не шевельнулось подозрѣнія.

«Такъ лгать нельзя! Надо все это выстрадать, чтобы умѣть передать!»

Прокуроръ обвинялъ сдержанно и спокойно. Онъ находилъ смягчающія вину обстоятельства, но считалъ заключеніе въ тюрьмѣ способомъ исправленія и предохраненія отъ новыхъ поступковъ такого же рода.

«Дабы не повадно было», — вспоминалъ онъ слова Петра Великаго... Дабы спасти отъ гангрены молодое существо, онъ находилъ полезнымъ окунуть его въ миазмы тюремной жизни...

— Г-нъ защитникъ, вамъ принадлежитъ слово! — любезно сказалъ предсѣдатель.

Гридинъ началъ свою рѣчь... нѣтъ, это была не рѣчь, а стонъ наболѣвшей души, вопль грѣшника, карательный призывъ судьи, воззваніе гражданина.

О подсудимой адвокатъ почти не упомянулъ, но онъ нарисовалъ такую потрясающую картину, что всѣмъ стало ясно, что виновата не эта дѣвочка, почти ребенокъ, во имя любви совершившая преступленіе, а тотъ неизвѣстный человекъ, который являлся въ данномъ случаѣ *попустителемъ*.

Гнѣвныя, бичующія укоризны, глубокой анализъ психическихъ ощущеній, вѣрное освѣщеніе фактовъ, все чѣмъ гордился вполне справедливо ораторъ, нашло примѣненіе къ его сегодняшней защитѣ.

Рѣчь его была прекрасна и дышала неподдѣльнымъ чувствомъ. Онъ обличалъ *себя*, не называя своего имени; онъ затронулъ въ сердцахъ присяжныхъ такія струны, которыя долго будутъ трепетать въ ихъ груди; онъ заставилъ почти каждого изъ слушателей съ тоскою оглянуться въ прошлое и подумать:

«А вѣдь и у меня была легкая интрижка, пріятный романъ, веселенькій эпизодъ, но я остался чистымъ и честнымъ человекомъ... А вѣдь мое дитя можетъ очутиться въ такомъ-же положеніи, и милая подруга, дарившая мнѣ часы счастья быть можетъ умираетъ въ сыромъ углу, на соломѣ.

Въ послѣднемъ словѣ Акимова сказала немногое.

— Я виновата и не отпираюсь... Сошлите меня въ Сибирь, но только не запирайте въ тюрьму... тамъ такъ ужасно!

У предсѣдателя не хватило духу остановить преступницу, такъ по дѣтски выразившую свои ощущенія.

Процедура окончилась и присяжные ушли совѣщаться. Они вернулись баснословно скоро и старшина сталъ читать вердиктъ:

— Нѣтъ, не виновна! — звучно произнесъ онъ.

Послышались рыданія, но плакала не преступница, а толпа, жадная до сильныхъ ощущеній.

Акимова стояла спокойная и равнодушная.

Что ей было до свободы, когда у нея не было ни пріюта, ни семьи, ни ласкъ матери...

— Подсудимая, вы свободны отъ суда и можете идти.

Дѣвушка, шатаясь, пошла къ дверямъ.

Ее обступили, ей жали руки и поздравляли. Старшина передалъ приставу собранные между присяжными пятьдесятъ рублей, но дѣвушка не принимала ихъ.

— *Теперь* мнѣ не нужно, мнѣ ничего не нужно, съ твердостью человѣка, закаленного въ нуждѣ съ дѣтскихъ лѣтъ, говорила она. — *Тогда* не было — *теперь* не нужно.

Отсутствіе благодарности въ существѣ, которое мы хотимъ облагодѣтельствовать, какъ-бы давая взятку своей совѣсти, всегда раздражаетъ насъ. Мы, такъ рѣдко дѣлающіе добро, снизошли до милости и вдругъ насъ отвергають...

Толпа любопытныхъ и благодѣтелей отхлынула отъ Акимовой. Ея поступокъ возмущалъ свою грубостью.

— Скажите, какая глупая! Даютъ деньги, а она не беретъ! — слышались замѣчанія.

— Мало, видно, показалось.

— Да, это психопатка какая-то.

— Вѣроятно надѣется получить больше!

— И получить! Хорошенькая мордочка...

— Еще можетъ себѣ карьеру составить, благодаря процессу. Газеты прокричатъ. Реклама, батенька, великое дѣло!

Ощущеніе острой жалости смѣнялось холоднымъ резонерствомъ и, словно въ театрѣ, послѣ разди-

рательной драмы, всѣ спѣшили освѣжиться и отдохнуть, слушая глухой фарсъ.

Процессъ окончился вечеромъ. Публика заговорила о тройкахъ и цыганахъ, объ интересномъ спорѣ за винтомъ, о свѣжихъ устрицахъ.

Жизнь, столичная жизнь, съ ея шумомъ, гаерствомъ, безсердечіемъ и возмутительнымъ эгоизмомъ, вступала въ свои права.

Временно придавленная, она проявлялась еще съ большею силою и увлекла все слабое и колеблющееся.

Гридинъ приблизился къ Акимовой.

Онъ оглядѣлся вокругъ, точно боясь, что его замѣтятъ, и, убѣдившись, что большинство знакомыхъ и почитательницъ ушло — рѣшился отдаться влеченію сердца.

Захаръ Петровичъ былъ блѣденъ и тяжело дышалъ.

— Пожалуйста... два слова — сказалъ онъ дѣвужкѣ. — Я васъ прошу, выслушайте меня...

Они отошли въ глубину коридора. Тамъ было пустынно и тихо; только шаги проходящихъ глухо отдавались по каменному полу.

— *Она* вамъ сказала вѣдь все, да? — началъ Гридинъ. — Вы поняли мою рѣчь... Я вашъ отецъ, Софья...

— Я это знала.

О, какъ холодно, какъ безпощадно прозвучалъ отвѣтъ дѣвушки.

«Она знала... и больше ничего!»

— Ради Бога... неужели ни капли кровавого чувства?—вырвалось у Гридина.

— За что?—спросила Соня.—Развѣ *вы* вспомнили, когда *она* умирала? Развѣ для васъ существовалъ долгъ? Вы *ничего* для насъ не сдѣлали и я *ничѣмъ* вамъ не обязана...

Но въ голосѣ дѣвушки прозвучали теперь новыя нотки, возбуждшія сладкій трепетъ въ душѣ Гридина. Кромѣ давно накипѣвшаго гнѣва, кромѣ горечи, явившейся результатомъ долгаго страданія, слышалось что-то мягкое, всепрощающее.

— Вы слышали, дитя мое, *какъ* я обвинялъ себя, какъ я понимаю свой проступокъ,—поникунувъ головой, вымолвилъ Гридинъ.—Я одинокъ... я несчастень... я искушилъ свою вину... Простите меня, дитя мое, Соня моя, дѣточка!

Слово «дѣточка» побѣдило Акимову. Такъ называла ее мама... Съ этимъ словомъ на устахъ она умерла, бѣдная...

Несчастливая страдалница сохранила вѣру въ людей и передъ смертью завѣщала своей дочери простить отца, если у него явится раскаяніе.

«Онъ пойметъ свою вину,—говорила она,—онъ сознаетъ свой проступокъ... Если-бы въ его душѣ не существовало этой способности, я бы не могла его такъ беззавѣтно любить... Прости его, Соня... Онъ дитя своего вѣка... онъ увлекся славою и забылъ совѣсть, но она воскреснетъ, когда Гридинъ увидитъ тебя!»

Слова умирающей оказались пророческими. Да, совѣсть воскресла въ душѣ дѣльца.

Сонечка поселилась въ квартирѣ Гридина и Захаръ Петровичъ извѣдалъ счастье родительской нѣжности.

Попуститель превратился въ любящаго отца и Соня Акимова сдѣлалась его законной дочерью, благодаря связямъ и средствамъ столичнаго адвоката.

Если въ жизни можно исправлять подобныя ошибки, то въ правовомъ смыслѣ это удастся какъ исключеніе...

Юлія Сергѣевна Ларская застала Конева совершенно изнемогающимъ въ злой чахоткѣ и облегчила его послѣдніе мѣсяцы своею заботой и дружеской лаской.

Похоронивъ примиреннаго и почти счастливаго Алексѣя въ Ялтѣ, Ларская возвратилась въ Петербургъ.

.....
Когда улеглось острое чувство жалости, когда смолкли упреки совѣсти, Юлія Сергѣевна нашла себѣ новое дѣло.

Она полюбила всей душою бѣдную Соню; она сдумѣла сдѣлаться для нея второю матерью и дала ей семью, вступивъ въ бракъ съ Гридинымъ.

Они давно симпатизировали другъ другу, но обоюдное страданіе сроднило ихъ, заставивъ сбросить личину свѣтскости, подъ которою въ наше время рѣшительно не разберешь, скрывается ли честный человѣкъ, или негодяй...

Задача жить, *какъ встѣ*, стремленіе повиноваться модѣ, и стадность, развивающаяся въ нашемъ обществѣ, такъ обезличили отдѣльныя единицы, что только подѣ влияніемъ сильнаго душевнаго толчка въ человѣкѣ скажется человекъ.



ЛАВРОВЫЙ ЛИСТОКЪ.

(Разсказъ.)



I.

Молодой драматургъ, Михаилъ Петровичъ Варенцовъ, пройдя всѣ стадіи нравственныхъ терзаній, получилъ, наконецъ, изъ цензурнаго комитета свою рукопись и, съ выраженіемъ безграничнаго восторга, увидѣлъ, что всѣ дорогія мѣстечки, всѣ монологи, къ которымъ онъ относился съ нѣжностью влюбленнаго—цѣлы.

На слѣдующее утро Михаилъ Петровичъ снесъ свою драму въ канцелярію литературно-театральнаго комитета, получилъ квитанцію и засѣлъ дома, никого не принимая и нигуда не показываясь. Онъ спасался отъ друзей и отъ враговъ, такъ какъ неизбѣжный вопросъ: «ну, что, какъ ваша драма?»—успѣлъ надоѣсть ему до невозможности.

Прошло около мѣсяца. Въ одну изъ пятницъ Варенцовъ получилъ извѣщеніе, что его драма, «Вражда», имѣетъ быть прочтена въ Энскомъ отдѣленіи комитета, для чего, въ качествѣ автора, онъ и приглашается.

Трепетно сжималось сердце молодого драматурга, когда онъ взбирался по темной лѣстницѣ театра. Ему становилось и холодно и жутко явиться чтецомъ своего перваго произведенія передъ ареопагомъ литераторовъ и артистовъ, такъ сурово и холодно взиравшихъ на дерзкаго новичка. Прислуга разливала чай; члены комитета бесѣдовали, курили и смѣялись, сообщая другъ другу новости дня и курьезные эпизоды вчерашняго винта; жизнь была ключомъ въ узкомъ коридорѣ, соединяющемъ оба отдѣленія, и только Варенцовъ оставался ей чуждымъ и далекимъ.

«Одобрять, или не одобрять?» — стоялъ въ его головѣ назойливый вопросъ, и теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, онъ сознавалъ всѣ недостатки драмы, ея претенціозность на типы, тогда какъ главнаго — знанія сцены — у него не было.

Варенцову уже слышались участливые вопросы лже-друзей, ихъ сожалѣнія и надоѣдливые совѣты, которыми онъ не желалъ воспользоваться. Онъ понималъ, что отъ сужденія членовъ комитета, этихъ людей, такъ весело болтающихъ обо всякихъ пустякахъ, зависитъ его судьба и начиналъ раздражаться, критически относясь и къ судьямъ и къ ихъ компетентности.

«И зачѣмъ я внесъ въ комитетъ свою драму!» — мысленно негодовалъ молодой человѣкъ. — «Очень нужно! Опозорятъ на всю Россію... во всѣхъ газетахъ пропечатаютъ! такая-то, дескать, пьеса не одобрена. Ну ихъ... уйду и кон-

чено... Откажусь... Я имѣю полное право... Понятно, имѣю!»

И бѣдняга озирался по сторонамъ, готовый обратиться въ бѣгство, но было уже поздно. Къ нему приблизился секретарь и оффиціальнымъ тономъ сказалъ:

— Г. Варенцовъ, авторъ «Вражды»? Вы сами будете читать свою драму?

— Да... да... Я бы желалъ...

— Какъ угодно. Это ваше право.

Варенцовъ вошелъ въ залу, гдѣ засѣдалъ комитетъ. Это была большая комната съ узкимъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ. На председательскомъ мѣстѣ сидѣлъ старикъ, извѣстный литераторъ, направо отъ него два артиста и два писателя, налѣво пустое мѣсто для автора, затѣмъ еще двое артистовъ, дама и мужчина.

— Авторъ «Вражды», г. Варенцовъ! — рекомендовалъ председатель.

Молодой человѣкъ поклонился собранію и, блѣдный какъ смерть, опустился на свое мѣсто. Вѣроятно, онъ былъ и смѣшенъ и жалокъ для членовъ комитета, видѣвшихъ сотни новичковъ въ такомъ-же положеніи. Дама-артистка, чутьемъ угадывая смущеніе Варенцова, предложила ему стаканъ чаю.

— Вамъ будетъ легче читать, сказала она мягко и ласково, обращая къ нему свое милое, интеллигентное лицо.

Эта пустая фраза, сказанная добрымъ, хорошимъ тономъ, произвела на Варенцова ободряющее впечатлѣніе. Ему стало легче дышать и, благодаря артистку, онъ выражалъ ей признательность не за радушіе хозяйки, а за то сердечное отношеніе, которое она такъ тактично проявила.

— Можно начинать, господа? — полу-вопросительно произнесъ предсѣдатель и, получивъ въ отвѣтъ общее согласіе, добавилъ, обращаясь къ автору: — Пожалуйста... Только я попрошу васъ, когда является новое лицо, дѣлайте его характеристику... Удобнѣе.

Варенцовъ началъ чтеніе. Первые явленія онъ читалъ такъ тихо и такимъ дрожащимъ голосомъ, что самъ раздражался на свое неумѣнье осилить душевное волненіе. Онъ не смѣлъ взглянуть на слушателей, боясь подмѣтить въ ихъ лицахъ выраженіе скуки, увидѣть невольный зѣвокъ, выраженіе нетерпѣнія. Сознывая, что для профессиональныхъ слушателей нѣтъ ничего непріятнѣе артистическаго чтенія, медлительнаго и какъ бы втолковывающаго, Варенцовъ сталъ читать просто и быстро.

Но по мѣрѣ развитія драмы, авторъ невольно увлекался. Окончивъ второй актъ, онъ бросилъ быстрый взглядъ вокругъ и замѣтилъ сосредоточенное вниманіе членовъ комитета. Этотъ моментъ рѣшилъ все.

Послѣдующія сцены авторъ читалъ горячо и живо, совершенно забывая, что передъ нимъ строгіе судьи. Въ эти минуты онъ страстно любилъ свое первое, долговыношенное дѣтище и готовъ былъ защищать каждый монологъ, всякое положеніе. Но комитетъ спокойно и безстрастно внималъ чтенію.

Вотъ и послѣдняя картина четвертаго акта. Она живьемъ выхвачена изъ жизни. Она производитъ потрясающее и воспитательное впечатлѣніе, какъ торжество правды надъ ложью, добра надъ зломъ. Авторъ такъ молодъ... Онъ приверженецъ идеи, что театръ — храмъ искусства, и задача драматурга не «пятки чесать» публикѣ, а давать идеалы, типы и повторять *хорошія слова*...

Слезы, честныя слезы дрогнули въ голосѣ автора, когда онъ читалъ заключительную сцену примиренія героя и героини. Онъ зналъ ее наизусть и воспользовался этимъ мгновеніемъ, чтобы взглянуть на судей.

У предсѣдателя, по какому-то странному случаю, зачесались глаза... Милая артистка отвернулась... Но Варенцовъ видѣлъ, какъ порывисто вздымалась ея грудь, какъ трепетали губы ея прелестнаго, правильно-очерченнаго рта.

Онъ былъ вознагражденъ...

Варенцовъ всталъ, ожидая какого-либо слова.

— Потрудитесь заѣхать въ канцелярію въ понедѣльникъ, вымолвилъ предсѣдатель, не глядя на автора. — Тогда вамъ сообщать приговоръ.

«Канцелярія... приговоръ...» Варенцову опять стало холодно и жутко. Но онъ овладѣлъ собою и, сдѣлавъ общій поклонъ, вышелъ изъ залы.

Болѣе часа бродилъ молодой человекъ по улицамъ столицы безъ всякой опредѣленной цѣли. «Два дня... еще цѣлыхъ два дня...» — думалъ онъ. — «Зачѣмъ это терзаніе? Вѣдь они сегодня, сейчасъ рѣшаютъ мою участь... *Канцелярія... приговоръ* — и это тамъ, гдѣ всѣ судьи — артисты, писатели!..»

Совершенно случайно Варенцовъ очутился у подъѣзда одной изъ редакцій, гдѣ иногда помѣщались замѣтки. Его ноги ныли отъ усталости и онъ рѣшилъ зайти отдохнуть. На лѣстницѣ его обогналъ одинъ изъ судей, членъ комитета, молодой писатель. Варенцовъ вздрогнулъ.

«Все кончено!» мелькнуло въ его мозгу. — «Но какъ? Чѣмъ? Что они рѣшили? Къ какому выводу пришли!.. Два дня.. двѣ ночи ждать!»

Съ утомленнымъ видомъ вошелъ Варенцовъ въ редакцію. Редакторъ, секретарь, молодой писатель, и еще два-три человека стояли въ дальнемъ углу и о чемъ-то разговаривали. Молодой писатель размахивалъ руками и смѣялся. У Варенцова замерло сердце и захватило дыханіе.

При звукѣ его шаговъ бесѣда оборвалась. Вся группа повернулась и молча смотрѣла на него, а затѣмъ, точно повинясь внезапно созрѣвшему рѣшенію, начала дружно рукоплескать.

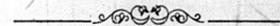
Варенцовъ пошатнулся и схватился за спинку кресла.

— Не смѣйтесь надо мною! — какъ стонъ сорвалось съ его губъ.

— Поздравляю! Вѣдь первая вещь! Молодцомъ! Пробрали вы насъ! Тихоня какой: и не говорилъ даже, что написалъ драму! Единогласно одобрена! Прекрасная пьеса! — раздался гулъ восклицаній, и всѣ жали руку Варенцова, поздравляя его, говоря лестныя похвалы.

Молодой человекъ растерялся. Эта неожиданная, потрясающая радость, эти искреннія поздравленія — были для него чѣмъ-то страннымъ, непонятымъ и незаслуженнымъ.

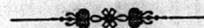
На долю Варенцова выпалъ первый лавровый листикъ, но, бѣдный молодой драматургъ, онъ и не подозрѣвалъ, что въ театральной сферѣ даже лавры имѣютъ шипы...



И И И Ы.

(Разказъ).

II.



II.

— **С**ъ вами желаетъ повидаться администраторъ, отъ котораго зависитъ постановка вашей пьесы, заявилъ Варенцову его пріятель, актеръ **Зининъ**, добрый, хотя нѣсколько взбалмошный малый.

— Что же мнѣ нужно сдѣлать? Куда и когда идти?

— Ясное дѣло, въ комиссію. Завтра встаетъ суббота, вотъ и отправляйтесь.

Варенцовъ, авторъ драмы «Вражда», единогласно одобренной комиссіею, отправился на свиданіе. Его встрѣтили холодно, почти удивленно.

— Вѣдь вы уже, кажется, читали свою драму?

— Какже, читалъ... Она одобрена, не удержался молодой авторъ. — Но мнѣ сказалъ Зининъ, что вы желали переговорить со мною...

— То есть *онъ* просилъ за васъ, но я право не знаю... У насъ такая масса пьесъ. Кромѣ того, вашу драму надо насквозь передѣлать. Длинноты въ ней... Незнаніе сценическихъ условій...

— Сдѣлайте одолженіе, укажите, я съ благодарностью исполню все.

Къ администратору подошли съ какимъ-то вопросомъ. Онъ отвѣчалъ, отдавалъ приказанія. Варенцовъ покорно ждалъ.

— Э... видите ли, началъ администраторъ, — у насъ, въ вашей пьесѣ, напримѣръ, третій актъ совсѣмъ лишній... Его выкинуть надо.

— Развитие характера... дѣйствіе...

— Я говорю: надо выкинуть, возвышая голосъ, продолжалъ собесѣдникъ. — Второй актъ на половину сократить, первый тоже... И вообще, зачѣмъ вы дѣлаете пьесу въ четырехъ актахъ! Странно. Пспектакльнѣйшій расчетъ! Молодому писателю стыдно становиться на меркантильную почву. Эта комедія въ одномъ актѣ могла бы идти...

— У меня *драма*... «Вражда», осмѣлился напомнить Варенцовъ...

— Ахъ, что вы толкуете «драма», «драма...» Назвать всячески можно... Тамъ у васъ прямо сальности есть... заигрыванье съ райкомъ...

Варенцовъ ужаснулся. Если чѣмъ страдала его драма, такъ именно отсутствіемъ комического элемента. Это была цѣльная, жизненная драма, постепенно развивающаяся передъ зрителемъ и захватывающая его.

Толстенькій секретарь, издали прислушивавшійся къ бесѣдѣ, подошелъ и началъ шептать что-то.

Варенцовъ уловилъ отдѣльные слова: «другого».. «Дружба называется»... «Тутъ не сальности»... «Уходовъ нѣтъ»...

Администраторъ разсердился. Онъ махнулъ рукой и съ сердцемъ обратился къ Варенцову.

— Если бы я вздумалъ поставить вашу пьесу, я исполнителей не найду. Да, не найду! Кому охота играть, если онъ хлопка не сорветъ. У васъ ни одного ухода нѣтъ! Все вниманіе на главныхъ актеровъ...

Михаилъ Петровичъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ. Онъ зналъ и возмущался, такъ какъ горячо любилъ искусство, что драматурги новѣйшей формаціи, возведя свою дѣятельность въ ремесло, писали не пьесы, проникнутыя идеей, давали не типы, живьемъ выхваченные изъ жизни, а создавали роли, по мѣркѣ и силамъ актеровъ, сшивая ихъ бѣлою нитью, смоченною въ чужихъ произведеніяхъ. Онъ зналъ, что пьеса, въ которой каждый маленькій актеръ срываетъ хлопокъ — въ ущербъ развитію дѣйствія — имѣетъ успѣхъ, но въ то же время понималъ, что подобныя драмы и комедіи давно набили оскомину интеллигентной публикѣ и, конечно, никогда не ожидалъ услышать одобреніе такой системѣ изъ устъ администратора...

— Я бы вамъ совѣтовалъ, заключилъ онъ, — сойтись съ кѣмъ нибудь изъ опытныхъ авторовъ и попросить, чтобы вамъ передѣляли пьесу, сдѣлали ее—ха-ха!—удобоваримой...

Администраторъ отошелъ. Его ожидали другіе... Варенцовъ остался въ недоумѣніи. Прижимая пьесу къ груди, онъ озирался, смутно надѣясь встрѣтить сочувственный взглядъ, доброе слово, ободряющій совѣтъ. Ничего подобнаго. Холодно и безучастно исполняли свою должность интеллигентные канцеляристы, а патентованные представители драматургіи важно прогуливались взадъ и впередъ, презрительно поглядывая на новичковъ.

Одинъ изъ нихъ приблизился къ Варенцову. Они гдѣ-то и когда-то встрѣчались и иногда раскланивались.

— А, и вы къ намъ, высокомерно заговорилъ Налетовъ. — Что же, доброе дѣло, молодой человекъ; старайтесь! Здѣсь можно хо-ро-шій кусочекъ хлѣба заработать. Слышала я про вашу пьесу, хвалить, только простите: «мертворожденное» дѣтище-то ваше!

— Отчего? Коммиссія одобрила...

— Э, батенька, у насъ сотни лежатъ и будутъ лежать! «Литературныя достоинства» — экая намъ нужда въ нихъ! Идти можетъ пьеса *настоящая*, чтобы всѣмъ потрафляла...

— Какая же это настоящая?

— Вамъ Иванъ Ивановичъ сказывалъ... Послѣдуйте его совѣту. Надѣлайте «уходовъ», комическаго элемента подпустите, чтобы зрителя этого самого въ лосекъ положить, а не хотите смѣха — слезы, истерики вызывайте. Если на

представленіи вашей пьесы хотя пять барынь въ кликушество впадутъ — вы значить *умѣете* писать драмы... Будемъ говорить откровенно: Островскій устарѣлъ... Былъ, да сплылъ... Мы — люди новой школы... Мы живемъ въ нервный вѣкъ и должны играть на нервахъ.

Варенцовъ молча внималъ этой смѣлой проповѣди.

— Вотъ хотя бы ваша пьеса, ну, недурна... Сюжетъ есть, свой, не заимствованный, архитектора порядочная... Но... но ничего изъ нея не выйдетъ! Такое ли теперь время, чтобы тенденціи да типы проводить? Смѣхъ до коликъ, или истерика до обморока — вотъ что нужно. Кстати: хотите, я исправлю вашу пьесу, передѣлаю ее, проведу на сцену, все такое? На счетъ гонорара я всегда беру 75 процентовъ... А ужъ какъ сдѣлаю — прелесть! И Налетовъ поцѣловалъ концы пальцевъ. — У васъ эта героиня остается честной женщиной. Зачѣмъ? Кому это интересно? Нѣтъ, пусть у нея будетъ два любовника и чтобы они прятались другъ отъ друга, чтобы они взаимно ревновали, а затѣмъ... ну пускай зарѣжутъ одинъ другого...

— Моя драма безъ крови, безъ смертей... осмѣлился возразить Варенцовъ, припертый къ стѣнѣ. — Я просто взялъ драматическое положеніе и развилъ его.

— Знаю, знаю! Оттого то и надо ее передѣлать... Скажите на милость, ну, кому интересно

видѣть на сценѣ то, что онъ постоянно дома видитъ! Никакого отдыха... ни малѣйшей иллюзии... Если человекъ несетъ тебѣ свой грошъ, такъ ужъ ты разубажь его на всѣ корки... Я такъ смотрю на вещи, молодой человекъ!..

Варенцовъ какъ опалѣвшій вышелъ изъ передней. Онъ продолжалъ крѣпко прижимать къ груди свою «Вражду» и съ юношескимъ пыломъ думалъ:

«Нѣтъ, лучше я сожгу тебя, изорву на мелкія клочки, но не позволю вводить въ тебя *элементы успеха*... Богъ съ нимъ, съ этимъ успехомъ гаеровъ и площадныхъ шутовъ! Каждого, кто дерзаетъ не покоряться толпѣ, кто не хочетъ превращаться въ крѣпостного Ваньку и чесать пятки грубому деспоту—подвергаютъ остракизму! Я не вѣрю въ ихъ силу... Не хочу вѣрить! Есть еще люди, понимающіе искусство, способные оцѣнить прекрасное!»

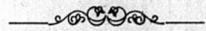
И Варенцовъ, благодаря молодымъ силамъ и сангвиническому темпераменту, продолжалъ вѣрить въ идею правды и красоты... Онъ былъ убѣжденъ, что никакая тьма не можетъ длиться вѣчно, и, рано ли—поздно, но воскреснетъ солнце истины и поникнуть головой рыцари наживы.



НА СУДЪ ПУБЛИКИ.

(Разказъ).

III.



III.

Къ молодому драматургу Варенцову, написавшему драму «Вражда», приѣхалъ антрепренеръ частной сцены, Заваровъ, милѣйшій, добродушнѣйшій человѣкъ, но горячій, вспыльчивый и нетерпѣливый. Онъ любилъ театральное дѣло, понималъ его и прекрасно относился къ своей группѣ. Со всѣми актерами Заваровъ стоялъ на дружеской ногѣ, всѣхъ актрисъ называлъ «дѣточкой», а если его разсердятъ, то «дѣлалъ» огромные глаза, стучалъ кулакомъ по столу и кричалъ, какъ истый трагикъ: «чорта въ стулѣ!»

Никто въ сущности не боялся Заварова, но всѣ его уважали и любили, какъ честнаго труженника, хотя, говоря правду, онъ никогда не училъ своихъ ролей, да, пожалуй, и не считалъ это нужнымъ.

«На то есть суфлеръ... Подавай... Твоя обязанность!» — разсуждалъ онъ.

— Хотите поставить у насъ «Вражду»? — предложилъ Заваровъ. — Исполнители есть подходящіе, обстановку справимъ.

Варенцовъ съ восторгомъ принялъ предложеніе Заварова, хотя самый фактъ постановки пьесы въ клубъ лишалъ его права видѣть свою драму на сценѣ большаго театра. Впрочемъ, молодой человѣкъ уже имѣлъ время убѣдиться, что даже желаніе нѣкоторыхъ крупныхъ актеровъ поставить его пьесу—фикція. Прошло болѣе года съ тѣхъ поръ, какъ «Вражда» вынесла всѣ мытарства и теперь спокойно лежала въ портфель автора.

— Согласны, ну, и чудесно! Жалуйте ко мнѣ въ понедѣльникъ вечеромъ. Соберутся актеры и вы прочтете вслухъ свою пьесу. А пока роли распишутъ.

Варенцовъ былъ на седьмомъ небѣ, если восьмого и девятого не существуетъ. Видѣть свое дѣтище на сценѣ, видѣть *живущими* созданія своего воображенія, видѣть, въ какіе образы выльются задуманные имъ типы, *какъ* станетъ говорить тотъ или другой изъ иллюстраторовъ его произведенія, о, это наслажденіе, которое надо испытать, чтобы понять всю тонкость его ощущенія.

Въ назначенный день и часъ Варенцовъ былъ уже въ тѣсной квартирѣ Заварова, гдѣ собрались актеры и актрисы, два-три репортера и одинъ редакторъ, театраль, любитель винта и хорошенькихъ женщинъ.

Чтеніе перваго акта прошло благополучно, хотя толстая служанка беспощадно громыкала посудой, подавая чай и на самыхъ патетическихъ

мѣстахъ прерывала автора предложеніемъ: «взять лимончику», «булочки покушать», «еще чайку откушать» и т. д.

Узнавъ, что въ первомъ дѣйствіи балъ, артистки стали совѣщаться объ костюмахъ. До автора долетали отрывочныя фразы: «надо сказать!», «это слѣдуетъ измѣнить!», «я не согласна!», «иначе я играть не стану» и т. д... Варенцовъ волновался. Онъ думалъ, что главной актрисѣ не понравилась роль и съ трепетомъ ожидалъ ея заявленія.

Дѣйствительно, красивая и прекрасно сложенная артистка обратилась къ нему съ капризнымъ видомъ:

— Мг. Варенцовъ, я васъ прошу измѣнить нѣкоторыя вещи... Я никому не позволю вмѣшиваться въ свои дѣла... Это мой личный вкусъ...

— Что вамъ угодно?

— Вы тамъ говорите про меня: «Зина одѣта въ бѣлое платье съ пунцовыми цвѣтами»... Я—блондинка!.. Наконецъ, я одѣваюсь, какъ мнѣ вздумается... Я создаю костюмъ сообразно роли! Стѣснять себя я не намѣрена...

— Сдѣлайте одолженіе, Ольга Ивановна... Это всецѣло въ вашей власти.

Второй и третій акты не вызвали замѣчаній, но Варенцовъ слышалъ, какъ два актера тихо спорили. Одинъ говорилъ: что въ пьесѣ есть что-то «*Налетовское*», но авторъ не успѣлъ еще раз-

виться, другой отвѣчалъ, что драма тѣмъ и хороша, что въ ней ничего нѣтъ «*Налетовскаго*».

Прочитавъ четвертый актъ, Варенцовъ жадно ожидалъ приговора свѣдущихъ людей. Мнѣніе артистовъ было для него дороже одобренія комитета, такъ какъ эти дѣятели сцены могли являться болѣе серьезными критиками-цѣнителями, чѣмъ кабинетные судьи.

Но каждый изъ артистовъ думалъ о своихъ роляхъ. Отчасти изъ деликатности, отчасти изъ сознанія, что пьеса *одобрена*—никто не высказывался. Къ автору относились симпатично и его ошибки охотно извинялись, въ виду новизны сюжета и типовъ.

— Ай! Ай! Ай! раздалось искренно-испуганное восклицаніе Ольги Ивановны, когда служанка накрывая столъ для ужина, хотѣла было положить роль на стулъ.—Что ты дѣлаешь, Маша! Развѣ это можно! Вы вотъ еще этого не знаете, добавила артистка, обращаясь къ Варенцову,—а у насъ, сохрани Богъ, положить роль на стулъ, нечаянно сѣсть на нее, или уронить—все пропало... Такъ и на спектаклѣ будетъ... Провалишь роль!

Начались подходящіе рассказы. Изъ дружески-откровеннаго общенія Варенцовъ узналъ, что большинство актеровъ—суевѣрны, мнительны и придаютъ значеніе пустымъ примѣтамъ. У каждаго изъ нихъ есть завѣтный образокъ, или вещичка,

приносящая счастье, и потерять ее—значить провалить роль.

— У меня былъ орѣхъ, тройняшка, говорилъ Петровъ, старый актеръ,—я его за рубль купилъ у нищаго, и, что-же вы думаете, пять лѣтъ пользовался уснѣхомъ. Иногда роли въ зубъ толкнуть не знаешь, пьесы не читалъ, ни на одной репетиціи не былъ и все-таки—выйдешь на сцену, оцупаешь: тутъ мой орѣшекъ! И такъ по писанному пройдетъ. А потомъ, захопотался со своимъ бенефисомъ въ А—ни, да и потерялъ орѣшекъ... Съ тѣхъ поръ нѣтъ прежней удачи! Нѣтъ ея!

— Просто пересталъ роли учить, шепнулъ на ухо Варенцову комикъ, дѣлая забавную ужимку.—А жаль, что для меня нѣтъ роли въ вашей пьесѣ! У меня гриммъ есть придуманный—восторгъ... упоенье!

— Какъ жаль, что моя роль такая маленькая! кокетливо замѣтила хорошенькая iugéne.—У меня удаются капризные нотки... А ваша Наташа серьезная... спокойная...

— Такой характеръ... Что-же дѣлать, извинялся авторъ.

— Нѣтъ, это можно-бы исправить... Вотъ у Налетова...

— Да ужъ что и толковать... Налетовскія пьесы,—репертуарныя!

Заваровъ не выдержалъ.

— Чорта въ стулъ! Налетовскія пьесы—репертуарныя пьесы,—гаркнулъ онъ ударяя кула-

комъ по столу.—Этотъ вашъ Налетовъ на двадцать лѣтъ назадъ отодвинулъ драматическое искусство! Чорта въ стулѣ! Писать роли по актерамъ! Скоро дойдешь до того, что на сценѣ будешь, дѣйствительно, рѣзать, вѣшать, сѣчь, а не пробуждать въ зрителяхъ добрыя чувства... Репертуарныя! Эй, Маша! подавай ужинать... Нашли тоже... Похвалили! Понятно, если наступило теперь торжество улицы—такъ площадные гаеры въ спросѣ, но намъ-то намъ, хвалить не пристало... Господа, закусить милости просимъ!

За ужиномъ говорили обо всемъ, кромѣ драматическаго искусства, и Варенцовъ былъ разочарованъ. Онъ мечталъ услышать здѣсь, въ кругу артистовъ, интересныя идеи, глубокія мнѣнія, забывая совершенно, что актеры были душевно рады отдохнуть отъ своего—въ чужомъ.

Прощаясь съ Варенцовымъ, Заваровъ похлопалъ его по плечу и просто, дружески сказалъ:

— Ничего, дѣточка, пьеса хорошая... Понравится!.. Только чуръ: на репетиціяхъ не обижаться... На спектаклѣ *будетъ* ладно...

Варенцовъ съ сердечною благодарностью пожалъ руку хозяина. Слово «дѣточка» было для него пріятнѣе всѣхъ похвалъ: оно какъ будто пріобщало его къ семьѣ актеровъ.

Наступилъ день спектакля.

Предупрежденія Заварова не «обижаться» на репетиціяхъ, имѣло основаніе. Никто изъ актеровъ не зналъ своей роли и даже не прочелъ ее, какъ слѣ-

дуетъ. Суфлеръ надрывался въ холодной, полутемной залѣ, а авторъ невыразимо страдалъ, думая, что и въ день спектакля всѣ будутъ относиться такъ-же безучастно, чтобы не сказать болѣе. Въ антрактахъ, пока одни изъ актеровъ были заняты, а другіе ожидали своего выхода, разговоръ вертѣлся на томъ, что имъ *некогда* выучить роль.

— Помилуйте, говорилъ талантливый молодой актеръ—въ четыре дня—три роли, абсолютно новыя... Никакихъ силъ не хватитъ...

Подобныя свѣдѣнія мучительно вліяли на Варенцова. Онъ ожидалъ полнаго провала и въ теченіе пяти дней, оставшихся до спектакля—изнервничался до послѣдней крайности, прятался отъ людей и нигдѣ не показывался.

Но всему бываетъ конецъ

Въ шесть часовъ вечера Варенцовъ уже бродилъ по большой темной залѣ, заходилъ въ холодныя, неприютныя уборныя, съ любопытствомъ оглядывая кулисы и всяческія приспособленія, такъ какъ, къ стыду своему, впервые былъ на сценѣ и интересовался, какъ ребенокъ, каждой декорацией. Собрались актеры. Спокойно и дѣловито раскладывали они свои костюмы и переговариваясь о злобахъ дня, начали гримироваться. Въ женской уборной, за тремя столами, сидѣли артистки и тоже «дѣлали себѣ лицо». Куски магнезій, румяна, вазелинъ, бѣлила, щеточки и лапки представляли душистыя горы. Служанки суетились, таскали ог-

ромныя картонки съ платьями и едва успѣвали исполнять разнородныя приказанія.

— Мнѣ парикъ! кричала комическая старуха.

— А гдѣ же букли? Я не могу безъ буклей!..

— Что-же парикмахеръ?

— Какъ, *мнѣ*, главной артисткѣ, нѣтъ отдѣльной уборной? негодовала прекрасная Ольга Ивановна. — Я должна вдуматься въ роль... Я не буду играть!

Явился Заваровъ и съ рѣдкимъ искусствомъ успѣлъ усмирить капризницу. Ей поставили отдѣльный столъ и закрыли его ширмой, чтобы никто не мѣшалъ ей «вдумываться»... въ совершенство гримма.

Раздались звуки оркестра. Невыразимый, гнетущій страхъ охватилъ Варенцова. Онъ метался, не находя мѣста. На сценѣ оставаться—нельзя; быть за кулисами?.. Но автору хотѣлось *видѣть* исполненіе пьесы, дающейся, быть можетъ, первый и послѣдній разъ. Сидѣть въ креслахъ, среди публики?.. Но кто не извѣдалъ на себѣ всей тягости любопытныхъ взоровъ друзей и враговъ? Кто не знаетъ, какъ мало чуткости у такъ-называемой интеллигенціи, которая такъ любитъ вложить палецъ въ зияющую рану, спрашивать съ наивнѣйшимъ любопытствомъ: вамъ больно?..

— Ну, что, дѣточка, какъ вы себя чувствуете? спросилъ Заваровъ, одинъ изъ всѣхъ, кажется, понимавшій душевное состояніе автора.

— Не знаю, куда мнѣ дѣться... упавшимъ голосомъ заявилъ Варенцовъ. Заваровъ искренно разсмѣялся.

— Садитесь въ первомъ ряду, съ края, а передъ концомъ акта сюда скорѣй, за кулисы. Никто приставать не станетъ!

Совѣтъ оказался практичнымъ. Варенцовъ сидѣлъ незамѣтный и никого незамѣчающій. Передъ нимъ развертывалась та картина, объ которой онъ мечталъ въ тиши кабинета, съ перомъ въ рукахъ, въ бессонную ночь, въ долгія прогулки по берегу Днѣпра.—Задуманные имъ образы получили плоть и кровь; они жили, страдали, возбуждали участие, даже слезы... Къ удивленію автора, актеры какъ будто знали роли. По крайней мѣрѣ, все шло гладко, вѣрно и никто не паузилъ...

Успѣхъ пьесы обозначился со втораго акта. Каждый монологъ главныхъ лицъ возбуждалъ рукоплесканія. Вызовы автора повторялись послѣ каждаго дѣйствія, а въ концѣ драмы превратились въ настоящую овацію. Публика неистово рукоплескала, упорно повторяя: «автора!» «автора!»

Но Варенцовъ не могъ выйти.

Забившись въ темный уголь, за самую дальнюю кулисою, онъ плакалъ, какъ ребенокъ, чистыми, радостными, счастливыми слезами.

— Ахъ! Эту-бы драму да дать Налетову поправить, да поприбавить кое-что! говорилъ шу-

стрый репортеръ.—Вѣдь она тогда-бы на большой сценѣ пошла...

— Чорта въ стулѣ! крикнулъ Заваровъ.—Пусть на маленькой идетъ, да сама собою остается!

ИСПЫТАНІЕ.

(Разсказъ).

— **И** такъ, Дина, вы согласны участвовать въ нашемъ спектаклѣ? Я могу записать ваше имя?! сказала Рамина, вынимая маленькую книжечку съ золотымъ обрѣзомъ и придвигаясь къ столу.

— Я-то согласна, Вѣра Петровна, вы знаете, но... но...

— Относительно рара, я вамъ сказала уже, не беспокойтесь! — смѣясь возразила Рамина. — Вчера, въ комитетѣ, мы поднимали этотъ вопросъ и нашли средство повліять на вашего отца.

Молодая и хорошенькая дѣвушка, съ правильными чертами лица и прелестными задумчивыми сѣрыми глазами, отрицательно покачала головой.

— Не думаю, Вѣра Петровна, спокойно произнесла она. — Я вамъ очень, очень благодарна, что вы обо мнѣ вспомнили и приѣхали къ намъ, что вы хотите поговорить съ папой, но ваши хлопоты будутъ напрасны.

— Посмотримъ!

— Даже княгиня Софія Александровна убѣждала папу, говорила, что позволила-бы *своей* дочери играть на сценѣ, что талантъ...

— Если Алексѣй Михайловичъ отказалъ княгинѣ, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что и я потерплю fiasco! У меня есть завѣтное словечко...

— Какое?

— И, знаете, кто мнѣ его шепнулъ, Дина? — не отвѣчая на вопросъ дѣвушки продолжала Рамина. — Угадайте! Вашъ хорошій знакомый... вашъ почитатель... О, какая недогадливая! Тотъ человекъ, который находитъ въ васъ одинъ только недостатокъ; любовь къ сценѣ, — медлительно заключила молодая женщина.

Дина покраснѣла и отвернулась.

— Бѣлавинъ! произнесла она. — Удивляюсь, какой совѣтъ могъ онъ дать... Онъ такъ странно относится къ женщинамъ вообще. По его мнѣнію, всѣ помыслы дѣвушки должны быть обращены къ браку. Любишь, не любишь, — но непременно выходи замужъ, будь матерью, хозяйкой и не смѣй мечтать о какой-нибудь дѣятельности. Еще недавно у насъ былъ горячій споръ... Бѣлавинъ увѣряетъ, что женщина-врачъ, художникъ, писательница — уродливое явленіе.

Дѣвушка напряженно засмѣялась. Видимо, ей было неприятно вспоминать споръ, задѣвавшій ее за живое, опровергавшій самыя дорогія для нея вѣрованія и заставлявшій недружелюбно отно-

ситься къ человеку, который вообще пользовался ея симпатіей.

— Со своей точки зрѣнія, онъ правъ, Дина, и вы напрасно возмущаетесь, — примиряющимъ тономъ замѣтила Рамина.

— Правъ? Бѣлавинъ правъ? О, Вѣра Петровна, вы не слыхали, что онъ говоритъ! — горячо прервала дѣвушка. — Если-бы вы знали только!. Его идеаль — дѣвушка до-Петровской Руси. Я не выдержала и сказала, что онъ опоздалъ родиться. Въ самомъ дѣлѣ, Бѣлавину слѣдовало жить три вѣка тому назадъ.

— Зачѣмъ такъ много, дружокъ! Мнѣ кажется, онъ еще дождется того времени, которое его удовлетворитъ. Ждать осталось немного...

— Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— Вчера въ комитетѣ мы долго разсуждали объ этомъ и, по моему, Дина, вы совершенно неправильно считаете Бѣлавина такимъ обскурантомъ. Онъ вовсе не врагъ женскаго образованія, женской дѣятельности. Нисколько! Но у него на этотъ счетъ, какъ онъ говоритъ, «особое мнѣніе» и съ нимъ нельзя не согласиться...

— Онъ передавалъ вамъ нашъ споръ?

— Отчасти, въ общимъ выраженіяхъ.

— И, конечно, иронизировалъ надо мною? — Смѣялся?

— Онъ? Надъ вами? О, Дина, я считала васъ болѣе наблюдательною и чуткою. Неужели вы до сихъ поръ не поняли, какъ хорошо и ду-

шевно онъ относится къ вамъ, какъ уважаетъ васъ. Повѣрьте, милая моя, что всѣ его споры, разсужденія, совѣты имѣють серьезный смыслъ.

— Рѣшительно не знаю—отчего вы за него такъ заступаетесь, Вѣра Петровна?! Прежде—да, Бѣлавинъ казался мнѣ симпатичнымъ, а теперь... Онъ меня постоянно сердить, злить, приводить въ отчаяніе...

Рамина молча смотрѣла на дѣвушку. Дина покраснѣлась и глаза ея блестѣли. Она быстро ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, жестикулировала и нервно смѣялась. Вѣра Петровна невольно залюбовалась непринужденною граціей дѣвушки и, вслушиваясь въ отгѣнки ея голоса, въ первый разъ еще замѣтила его богатство, звучность и выразительность.

— Иногда мнѣ кажется, продолжала Дина,— что Вѣламину доставляетъ удовольствіе перечить мнѣ, говорить какія-то невозможныя вещи. Вы знаете папину фантазію, онъ увѣряетъ, что выступать на подмостки—это позоръ, и послѣдній разъ Бѣлавинъ сталъ поддакивать папѣ! Я разсердилась, сдѣлала ему замѣчаніе, а онъ отвѣтилъ, что готовъ употребить всѣ силы, чтобы только отворотить меня отъ несчастнаго стремленія быть актрисой. И вы полагаете, что Бѣлавинъ относится ко мнѣ хорошо?! Нѣтъ, Вѣра Петровна! Онъ имѣетъ большое вліяніе на папу и пользуется имъ во вредъ мнѣ, а не на помощь.

— Однако, онъ далъ мнѣ совѣтъ, который подѣйствуетъ на вашего отца...

— Какой? Что именно?

— Не сердитесь, Дина, но пока—я вамъ не скажу его. Посмотрите, не возвратился-ли вашъ папа? Я потолкую съ нимъ, а потомъ уже сообщу вамъ.

Дина поцѣловала Рамину и вышла изъ комнаты.

«Нѣтъ, она даровитая натура»—подумала Вѣра Петровна, оставшись одна. «Бѣлавинъ правъ... Такое горячее, страстное желаніе не можетъ являться наноснымъ увлеченіемъ. Надо дать ей средства провѣрить свои силы, понять: есть у нея талантъ или нѣтъ. Дина не глупая, начитанная дѣвушка, она привыкла размышлять, вдумываться... Можетъ быть нашъ спектакль будетъ для нея роковымъ, можетъ быть, онъ обнаружитъ ея собственное безсиліе. Во всякомъ случаѣ это будетъ къ лучшему: неопредѣленность тяжелѣе самой жестокой правды!»

— Папа вернулся и просить васъ чрезъ пять минутъ; онъ только переодѣнется, — сообщила Дина, возвращаясь.

— Вотъ и отлично, а то я засидѣлась. Мнѣ надо еще къ Мирвской и къ Требиной...

— Онѣ будутъ играть?

— Непремѣнно.

Дина стояла у окна и смотрѣла, какъ падали хлопья мокраго снѣга, бѣлымъ ковромъ покры-

вая грязную улицу, крыши противоположных домовъ и панели, по которымъ сновали пѣшеходы. Рамина подошла къ трюмо, оправляя прическу и крошечную модную шляпку, едва державшуюся на затылкѣ.

— Вѣра Петровна, голубушка, родная, сдѣлайте одолженіе, — порывисто заговорила Дина, обращаясь къ Раминой, — устройте, чтобы папа позволилъ мнѣ играть въ этомъ спектаклѣ! Если бы вы знали, какое это имѣетъ для меня громадное значеніе... Громадное!

— Почему, Диночка?

— Почему? — тихо повторила дѣвушка. — Хорошо, *вамъ* я скажу, только вамъ, папѣ, вы ничего не говорите. Никому не надо знать. Видите, дорогая, я чувствую, вотъ здѣсь — въ сердцѣ, въ душѣ чувствую, что я *могу играть*, что у меня есть тотъ священный огонекъ, который называется способностью, талантомъ, какъ хотите. Но въ то же время, я испытываю страхъ... я холодѣю при мысли что мои ощущенія ошибочны... Можетъ быть, все это только воображеніе и я ни на что неспособна...

— Нѣтъ, Дина, это неправда! Вы тогда играли и я помню, всѣмъ понравились, возразила Рамина.

— Нѣтъ, нѣтъ, не говорите объ этомъ спектаклѣ! быстро прервала дѣвушка. — Это былъ позоръ! Такъ развѣ нужно было играть?! Нѣтъ, дорогая моя, для меня теперь наступаетъ гам-

летовскій вопросъ: «быть или не быть»... Я страстно, до обожанія люблю драматическое искусство, я хочу посвятить ему всѣ свои силы, свою жизнь, свои права на счастье, все, все, но я должна знать, гождусь-ли я на что-нибудь... О, если-бы папа позволилъ мнѣ играть! Я выберу пьесу, я приготовлю роль *по своему* и тогда... Вся жизнь будетъ стоять на картѣ... Да, Вѣра Петровна, для меня это рѣшительный день. Или я провалюсь, или восторжествую!

— Не забывайте, милочка, что всего чаще въ жизни бываетъ середина...

— Нѣтъ, *здѣсь* середины быть не можетъ!

— Какимъ образомъ? Напротивъ, это всего естественнѣе...

— Нѣтъ и нѣтъ! Если у меня есть талантъ — я заставлю плакать и папу, и Бѣлавина, и всѣхъ, кто постоянно спорить со мною. Если нѣтъ во мнѣ силенки, — ну, нечего дѣлать... Поставлю крестъ...

Дина съ такимъ выраженіемъ произнесла эти слова, что у Раминой мурашки по тѣлу пробѣжали. Она испугалась слишкомъ серьезнаго отношенія дѣвушки и ея намѣренія смотрѣть на свое участіе въ спектаклѣ, какъ на рѣшительное испытаніе.

По разуму — Вѣра Петровна вполне оправдывала стремленіе Дины опредѣлить и взвѣсить свои силы; по душѣ — ей становилось жутко за талантливую и увлекающуюся дѣвушку.

«Кто знаетъ какъ повліяетъ на нее случайная неудача? Какъ отразится на ней возможное потрясеніе? думала Рамина, начиная раскаиваться въ своемъ участіи въ этомъ испытаніи.— Не лучше-ли устраниться, пока есть время?»

Дина угадала ея колебанія.

— Пора къ папѣ. Идите, дорогая моя, сказала она, обнимая Рамину, — и, прошу васъ, употребите все свое краснорѣчіе, передайте всѣ доводы Бѣлавина, но добейтесь согласія. Вамъ не придется сожалѣть о своемъ участіи, добавила дѣвушка загадочнымъ тономъ, — такъ или иначе, но я буду счастлива!..

II.

Алексѣй Михайловичъ Райскій принадлежалъ къ числу людей вымирающаго типа баричей, вскормленныхъ и вспоенныхъ крѣпостнымъ трудомъ.

Въ душѣ онъ восхищался прошлымъ режимомъ, но, боясь нареканія въ отсталости, скрѣпя сердце, вторилъ похваламъ современному строю. Онъ никогда не былъ «крѣпостникомъ», никогда не злоупотреблялъ правомъ сильнаго и совершенно искренне удивлялся, когда говорили при немъ объ ужасахъ рабства, о вопіющемъ безправіи мужичка и злодѣяхъ-помѣщикахъ.

— Спросите-ка моихъ, Покровскихъ—не захотятъ-ли они возвратиться къ прежнему состоянію,—какъ-то не выдержалъ Райскій.—Прежде было скверно, гадко, отвратительно, но я готовъ честью поручиться, что помѣщикъ-Колупаевъ хуже нашего брата...

Не взирая на стремленіе идти за вѣкомъ, Райскій не могъ отрѣшиться отъ нѣкоторыхъ убѣжденій и даже родная дочь, его кумиръ и гордость, хорошенькая Дина, считала его рабомъ предрасудковъ.

Дина страстно любила сцену. Еще дѣвочкой-подросткомъ она мечтала о подмосткахъ, и на публичномъ экзаменѣ, когда она замѣчательно хорошо прочла трудный монологъ изъ классической трагедіи, ей казалось что цѣль жизни найдена...

— Я буду артисткой! Я непременно поступлю на сцену! съ твердою увѣренностью говорила дѣвушка и подругамъ, и класснымъ дамамъ, осыпавшимъ ее восторженными похвалами.

— Конечно! Обязательно! Вы не должны зарывать въ землю вашъ талантъ! Вы будете знаменитостью!—на всѣ лады восклицали окружающіе, и Дина проникалась этою увѣренностью и лелѣяла сладостныя мечты.

Но горькое разочарованіе ожидало дѣвушку.

Старикъ-отецъ, до сихъ поръ жившій въ своемъ имѣніи, переѣхалъ въ столицу и, когда Дина окончила образованіе, онъ пригласилъ къ себѣ сестру

свою Анну Михайловну, вдову заслуженнаго чиновника Воинова, и сказалъ дочери:

— Ну, Дина, теперь ты взрослая, барышня, невѣста. Ученіе окончено; дипломъ у тебя—первый сортъ; сама ты—ничего, хорошенькая; состояніе у тебя порядочное: отъ матери осталось десять тысячъ, да Покровское получишь послѣ моей смерти,—словомъ, невѣста хоть куда... Потолкуйте съ теткой насчетъ разныхъ тамъ финтифлюшекъ, да оборочекъ, закажи себѣ платья, да шляпки, что тамъ нужно — не знаю. Когда справитесь,—сдѣлаемъ балъ, а тамъ начинай выѣзжать.

Дина промолчала. Перспектива выѣздовъ вовсе не прельщала ее. Райскій совершенно иначе понималъ молчаніе дочери.

— Да вотъ еще,—добавилъ онъ,—всѣ счета будетъ уплачивать тетка, я уже скажу ей, а тебѣ лично на твои прихоти я стану давать по радужной въ мѣсяць. Хорошо? Обрадовалась, стрекоза! Ну, и отлично!

Молодая дѣвушка крѣпко обняла отца и поцѣловала его жесткую, морщинистую щеку. Заботливое вниманіе отца и его ласка придали ей мужество.

— Мерсі, папа! Мерсі, дорогой мой! И эти деньги я могу тратить, на что хочу? Да? Вы не будете сердиться?

— Конечно нѣтъ, Дина... Я надѣюсь на твое благорозуміе. Можетъ быть, ты намѣрена на всѣ

сто рублей купить тянушекъ, то это напрасно: зачерствѣютъ. Не вкусно будетъ!

Дина вспыхнула. Отецъ считалъ ее ребенкомъ, лакомкой, у которой всѣ помыслы обращены на сласти... Положимъ, прежде она любила тянушки и папа привозилъ ихъ по пяти фунтовъ... Но это было давно. Наконецъ, тогда она угощала весь классъ... А теперь... теперь, когда она мечтаетъ о славѣ драматической артистки, отецъ воображаетъ, что она—все еще дитя...

— О, нѣтъ, папа, вы ошибаетесь,—произнесла Дина оскорбленнымъ тономъ.—Ни выѣзды, ни наряды меня не интересуютъ, а тѣмъ болѣе какія-то тянушки. Вы сами сказали сейчасъ, что я—взрослая... Мнѣ, папа... мнѣ хочется учиться... поступить на курсы...

— На курсы? Ты—на курсы?! съ ужасомъ прошепталъ Райскій.

— На курсы? Диночка, опомнись, мой другъ! воскликнула Анна Михайловна, до сихъ поръ молча внимавшая разговору отца съ дочерью.

— Съ чего пришла тебѣ въ голову такая чушь? горячо продолжалъ Райскій.—Чтобы я... я пустилъ свою дочь на курсы, потрошить мертвые тѣла... Хорошее воспитаніе ты получила у М-ме Фрикэ, нечего сказать! Изволь забыть объ этой глупости! Слышишь?!

— Палочка, вы меня не поняли... я хочу поступить на драматическіе курсы...

— На драматическіе?! Открытыя неожиданное! Часъ отъ часу не легче! Быть актрисой? Тебѣ, дочери Алексѣя Райскаго? — Да я себѣ скорѣй руки дамъ отсѣчь по локоть, чѣмъ позволю своей дочери ломаться на подмосткахъ! *Моя* дочь — актриса! Ха, ха, ха! Да ты сама не понимаешь, что ты говоришь!

Дина расплакалась и ушла въ свою комнату, не имѣя возможности высказать и половины своихъ доводовъ. Отецъ сердился, топалъ ногами и былъ возмущенъ до глубины души.

Во время своей юности онъ ухаживалъ за актрисами, подносилъ имъ букеты и подарки, пользовался ихъ благосклонностью, даже хранилъ въ бюро пожелтѣвшія записочки звѣздочекъ и звѣздъ полотнянаго неба, но мысль, что *его дочь* хочетъ быть актрисой — это было что-то дикое и невѣроятное!

Много мѣсяцевъ прошло со дня этого разговора.

Алексѣй Михайловичъ зналъ, что Дина не отказалась отъ своей мечты, но дѣлалъ видъ, что ему ничего неизвѣстно. Онъ такъ-же упорно и горячо возмущался ея прихотью и жестоко разсердился, когда Анна Михайловна, сдѣлавшаяся сторонницею Дины, попробовала замолвить за нее словечко.

— Можетъ быть, у Диночки талантъ... Божій даръ, братецъ... Грѣшно мѣшать... Пускай-бы поучилась на курсахъ. Вотъ Федотова въ Москвѣ... Всѣ уважаютъ...

Алексѣй Михайловичъ поблѣднѣлъ отъ негодованія. Онъ разсказалъ сестрѣ нѣсколько избытыхъ и заѣзженныхъ анекдотовъ и случайностей изъ жизни актрисъ и представилъ этотъ бытъ въ такомъ ужасномъ видѣ, что Анна Михайловна была подавлена.

— Ужъ вы наскажете, братецъ! — не зная, кому вѣрить, прощептала Анна Михайловна.

Отъ професора, у котораго Дина тайкомъ брала уроки, отъ нѣсколькихъ артистовъ, съ которыми она случайно познакомилась, Воинова слышала совсѣмъ иное. Но брату — Анна Михайловна привыкла вѣрить и находилась въ самомъ неопредѣленномъ состояніи духа.

Она то убѣждала Дину: «оставить свою прихоть и сдѣлаться приличною барышней, какъ всѣ», то, увлекаясь пышными мечтами дѣвушки, начинала порицать «деспотизмъ» отца, но въ то-же время трепетала, что ея потворство узнаетъ «братецъ» и лишитъ теплаго угла.

Дина занималась энергично и упорно, вѣруя, что рано или поздно, но сила, если она существуетъ, пробьется и проложитъ себѣ дорогу. Почти всѣ деньги, получаемыя отъ отца, она тратила на уроки, на книги и по цѣлымъ часамъ изучала передъ трюмо различныя роли, воображая, что передъ нею не холодныя стѣны, а толпа, жадно внимающихъ слушателей.

Дѣвушкѣ давно уже хотѣлось попробовать свои силы, и потому предложеніе Раминой было ей чрезвычайно пріятно.

«Отецъ не позволить! Отецъ не согласится!» — думала она, порывисто ходя изъ угла въ уголь по своей комнатѣ, пока Вѣра Петровна находилась въ кабинетѣ Райскаго. — Это позорить его имя!.. Предки въ гробу перевернутся! — вспомнила Дина слова отца. — Точно не могу я взять псевдонимъ... О, когда-же, когда дождусь я совершеннолѣтія! Еще два года, долгихъ два года!»

Дина грустно склонила голову и замечталась.

— Побѣда! Поздравляю! раздался возлѣ нея радостный голосъ Раминой. — Согласился! Только не подь своей фамиліей!

Слезы восторга навернулись на глазахъ Дины.

— Какъ вы добились? Голубушка... Родная... О, какое счастье... Милый папа... Я была неправа по отношенію къ нему... Скажите, душечка, какъ добились? Подробно... все говорите!..

Рамина передала въ краткихъ выражаніяхъ свою бесѣду съ Райскимъ. Начать пришлось издалека и выслушать не мало рассказовъ, сообщенныхъ, кстати, словоохотливымъ старикомъ. Вѣра Петровна поймала его на какомъ-то фактѣ и стала доказывать, что жизненный урокъ — самое лучшее средство противъ упорства.

— Вотъ и наша Дина... Она бредитъ артистической карьерой. Отчего-бы вамъ не позволить ей: пусть сыграетъ гдѣ-нибудь на настоящей сценѣ, съ актерами и тогда сама убѣдится, что это дѣло не по ней...

— Что-же... я ничего не имѣю. Только не подь моей фамиліей. Это мнѣ собственно и Бѣлавинъ совѣтоваль, — сказала Алексѣй Михайловичъ.

— Тогда я начала говорить съ большею смѣлостью, продолжала Рамина, — и въ результатѣ — позволеніе! Да, съ однимъ условіемъ: Алексѣй Михайловичъ желаетъ, чтобы ему не надоѣдали рассказами о предстоящемъ спектаклѣ и не требовали, чтобы онъ пришелъ на это позорище...

— Милый папа! Онъ придетъ! Онъ навѣрное придетъ!

— Не думаю, Дина! — возразила Рамина. — Знаете, я сегодня только поняла, что это не капризь съ его стороны. Онъ искренне убѣжденъ, что выступать на сценѣ — позоръ... Если вашъ отецъ согласился, то исключительно изъ желанія вылечить васъ, заставить отказаться отъ фантастическихъ бредней.

— Да, это будетъ настоящее испытаніе, серьезнымъ тономъ вымолвила Дина.

III.

Радостные и тревожные дни наступили для Дины.

Въ одиннадцать часовъ утра отправлялась она на репетицію, происходившую на сценѣ одного

изъ столичныхъ клубовъ, въ большой, темной и непротопленной залѣ.

Возлѣ суфлера, помѣстившегося за маленькимъ столомъ, освѣщеннымъ единственною лампой съ зеленымъ абажуромъ, въ самыхъ непринужденныхъ позахъ, сидѣли актрисы и актеры въ ротондахъ и въ шубахъ, въ калошахъ и мѣховыхъ шапкахъ.

Начиналась считка ролей и обнаруживалась возмутительная небрежность переписчика. Главному дѣйствующему лицу онъ забылъ вписать реплики; первому любовнику пропустилъ всѣ монологи; комической старухѣ приписалъ рѣчи *ingenue*. Путаница развеселила всѣхъ. Начались рассказы, анекдоты, смѣхъ. Считывать роли не было возможности и потому рѣшили:

— Пусть суфлеръ читаетъ! Мы будемъ повторять!

Суфлеръ Акимовъ отличался одинъ за всѣхъ. Онъ читалъ на разные голоса, являясь то первымъ любовникомъ, то комической старухой.

Только Дина знала свою роль, но ей было неловко щегольнуть аккуратностью. До ея слуха уже донеслись два-три замѣчанія относительно «любительницъ-губительницъ» и она вспомнила совѣтъ профессора:

«До спектакля ни своихъ силъ, ни памяти не выказывайте».

За первую репетиціей послѣдовала вторая и третья, но ни одна изъ нихъ не удовлетворила

Дину. Она ожидала иного, болѣе серьезнаго отношенія отъ жрецовъ того искусства, которому такъ страстно поклонялась. Ее возмущала холодность актеровъ, ихъ ремесленная безучастность и полное пренебреженіе къ идеѣ автора.

Наконецъ, наступила послѣдняя, такъ называемая генеральная репетиція.

Дина не спала всю ночь. Едва только забывалась она сладкою дремотой, какъ вдругъ ей казалось, что она забыла свою роль, что тотъ или другой изъ ея монологовъ недостаточно обдуманъ и она стремительно вставала съ постели, накидывала бѣлый пеньюаръ и, съ распущенными волосами, стояла передъ трюмо, въ сотый разъ повторяя гнѣвные рѣчи оскорбленной жены и матери, бичующей пороки общества.

— Ложный тонъ! Не такъ я говорю, какъ нужно! Я чувствую... я понимаю, *какъ* слѣдуетъ говорить—и не могу!—съ отчаяніемъ шептала дѣвушка, ломая руки.

Положеніе Дины было не изъ легкихъ.

Волнующаяся и подавленная предстоящимъ испытаніемъ, она была всецѣло поглощена своею ролью, а между тѣмъ ей не съ кѣмъ было поговорить по-душѣ, посоветоваться, излить свои терзанія, не отъ кого выслушать ободряющее слово...

Давъ согласіе на участіе дочери въ спектакль, старикъ Райскій совершенно искренно ожидалъ пораженія Дины и заранѣе ликовалъ, что съ

рѣзкимъ ударомъ для самолюбія дѣвушки будетъ положенъ предѣлъ ея фантастическимъ увлеченіямъ.

Правда, ему было жаль Дину, но какъ смѣлый хирургъ, онъ сознательно рѣшался на трудную операцію. У него только не хватало духу говорить съ дочерью о предстоящемъ испытаніи, выслушивать ея рассказы, и потому за время репетицій между Алексѣемъ Михайловичемъ и Диной установилась наружная холодность, почти недружелюбіе.

Дѣвушка страдала, понимая ощущенія отца. Она знала, чего ему стоило сломить свою гордость и поступить противъ убѣжденій, всосанныхъ съ молокомъ матери.

Но она вѣрила въ свой талантъ, она надѣялась...

Возвратившись съ репетиціи нѣсколько позже, чѣмъ обыкновенно, Дина узнала, что отецъ недоволенъ ворчить и сердится.

Анна Михайловна со страхомъ сообщила племянницѣ:

— Все молчалъ, крѣпился, а сегодня изъ себя вышелъ. Такъ сердитъ, такъ сердитъ—бѣда просто! Досталось тутъ и тебѣ, и Раминой, и мнѣ. Всѣмъ сестрамъ по сергамъ! Не ходи лучше обѣдать, Дина... Я скажу, что у тебя голова болить.

— Зачѣмъ? Папѣ будетъ легче, если онъ выскажется.

Багровый отъ гнѣва старикъ ходилъ по столовой взадъ и впередъ, заложивъ руки за спину.

При появленіи дочери, онъ бросилъ на нее суровый взоръ и, не поздоровавшись, хотя не видѣлъ ее со вчерашняго дня, заговорилъ:

— Явились? Удостоили? Изволили вспомнить, что отецъ голоденъ, какъ собака... Прекрасно! Съ этими дурацкими забавами я собственно не знаю—кто здѣсь хозяинъ? вмѣсто того, чтобы объ отцѣ позаботиться, у насъ въ головѣ всякая ахинея... Мнѣ такъ надоѣла вся эта исторія, что я, кажется, сегодня уѣду въ Покровское. Дѣлайте, что знаете! Живите, какъ хотите... Я... я руки умываю...

Въ теченіе всего обѣда Райскій ворчалъ, то впадая въ минорный тонъ, то переходя къ угрозамъ. Анна Михайловна съ трудомъ глотала куски и съ безмолвной мольбою смотрѣла на Дину.

Дѣвушка не проронила ни одного слова.

Она внимала воркотнѣ отца, какъ виновная, несмѣющая оправдываться, и эта покорность дочери примиряющимъ образомъ дѣйствовала на старика. Сытый и вкусный обѣдъ, рюмочка желудочной настойки, пропущенная за закуской, и, главное, возможность излить накопившееся негодованіе—все это подѣйствовало на Райскаго умиротворяющимъ образомъ.

Обѣдъ окончился при общемъ молчаніи. Алексѣй Михайловичъ нѣсколько совѣстился за свою горячность и начиналъ заискивать въ сестрѣ, на которую тоже нашумѣлъ и накричалъ.

Закуривъ сигару и прихлебывая черный кофе, старикъ помѣстился у камина. Дина подошла къ отцу, положила ему руку на плечо и тихимъ, кроткимъ голосомъ сказала:

— Если хотите, папа, я откажусь отъ спектакля...

— Это еще что за новости? Зачѣмъ?

— Я не желаю доставлять вамъ огорченія...

Нѣсколько мгновений старикъ пристально смотрѣлъ на дочь.

— И ты... въ самомъ дѣлѣ... отказалась-бы? — какъ-бы недовѣряя произнесъ онъ. — Отказалась-бы? Правда?

— Я никогда не лгу, папа...

Райскій былъ тронутъ словами Дины. Онъ крѣпко пожалъ ея руку, поцѣловалъ въ лобъ и, чувствуя, что готовъ размякнуть, прошепталъ:

— Нѣтъ... нѣтъ... Не надо... Я не хочу, чтобы ты отказалась, но только... я тамъ не буду... И не проси! Ни за что не буду!

Дѣвушка ушла къ себѣ. Райскій проводилъ ее задумчивымъ взоромъ и, въ первый разъ еще въ его головѣ скользнула мысль: «А можетъ и въ самомъ дѣлѣ есть у нея что-то такое... способность... признаніе?... Да... за границей Рашель, Ристори, это я понимаю, но у насъ... Развѣ это мыслимо!»

Начало спектакля было назначено въ 8 ч., но актеры и актрисы собрались къ шести ча-

самъ, и когда Дина вошла въ общую уборную для артистокъ, всѣ мѣста уже были заняты.

Дѣвушка никогда не бывала еще въ такихъ уборныхъ и все занимало, интересовало ее.

Уборная представляла собою огромную комнату, съ зеркалами во всю стѣну, съ пушистымъ ковромъ и мягкой удобною мебелью. Посреди комнаты, въ разныхъ направленіяхъ, небольшіе столы съ овальными зеркалами и тутъ-же, возлѣ, цѣлая батарея косметическихъ принадлежностей.

Губки, щеточки, заячьи лапки, румяна, бѣлила, вазелинъ, разные карандаши для бровей, губная помада, пудра всѣхъ цвѣтовъ и большіе куски магнезій — все это красовалось на каждомъ столикѣ рядомъ съ цвѣтами, вѣерами, ленточками и принадлежностями костюма.

Красивый, изящный беспорядокъ!

Актрисы въ коротенькихъ юбочкахъ, затянутыя въ корсеты, съ прозрачными пудермантелями на плечахъ, «дѣлали себѣ лицо»; другія нетерпѣливо ожидали парикмахера и въ десятый разъ посылали за нимъ своихъ горничныхъ.

— Маша, да скоро-ли придетъ парикмахеръ?

— Анюта! Мнѣ парикъ спроси!

— Аксинья, дождусь-ли я Прохора?!

Появился парикмахеръ — пожилой субъектъ съ небритымъ подбородкомъ и, не глядя на хорошенькихъ женщинъ, съ обнаженными плечами и руками, румянныхъ, какъ восковыя куколки, прелестныхъ какъ... херувимы на вербѣ, съ мрач-

ною озабоченностью началъ припекать бужли и возводить монументальныя прически.

Смѣхъ, говоръ, шутки, обмѣнъ любезныхъ колкостей и колкихъ любезностей, лицемѣрныхъ похвалъ и ядовитыхъ замѣчаній... Женское самелюбіе, напряженное до послѣдней крайности, проявлялось даже въ мелочахъ. Въ качествѣ чуждой въ этой сферѣ, Дина имѣла возможность наблюдать, прислушиваться; передъ нею не стѣснялись, даже напротивъ, — въ ея присутствіи актрисами овладѣвало стремленіе къ самохвальству, и онѣ, наперерывъ, одна передъ другой, рассказывали о своихъ триумфахъ.

— Какъ меня «принимали» въ Казани! — говорила молоденькая актриса, поджавъ губы и подводя бровь. — Это ужасъ... ужасъ... Я была совершенно потрясена...

— Неужели ошибали? — съ притворнымъ участіемъ спросила сосѣдка.

— Что вы, душечка, въ умѣ-ли? *Меня* ошибать?! Ха! Ха! Да знаете-ли, что только Савину, да меня такъ принимаютъ. Пустой водевилъ сегодня, а вы увидите... увидите!

— Еще-бы не вызывать, если она себѣ такой вырѣзъ на платьѣ дѣлаеть, ворчала «комическая старуха», потерявшая право носить декольте, которое доставляло ей прежде несомнѣнный успѣхъ.

— А меня въ Харьковѣ на рукахъ носили!

— Нѣтъ, сколько я подарковъ получила!

— Что вы не одѣваетесь, Динорина? спросила Дину молоденькая дѣвушка, тоже любительница, исполнявшая выходныя роли.

— Я сейчасъ... вотъ онѣ кончутъ, тогда. Вѣдь сначала идетъ водевилъ, а потомъ уже наша драма...

— Да, мы вамъ дадимъ тонъ! — вмѣшалась главная актриса. — Все зависитъ отъ того, какой тонъ дать... У меня былъ случай... Вотъ тоже любительница играла и понимаете, зарѣзала насъ безъ ножа...

Раздался звонокъ режиссера и всѣ актрисы, участвующія въ первой пьесѣ, ушли на сцену, шумно болтая и на-скоро докуривая папирасы.

Дина осталась одна.

Только теперь ею овладѣлъ страхъ и сознание своего безсилія.

Она одѣвалась и гримировалась какъ-то машинально, ничего не понимая, не чувствуя. Точно замерло все въ ней, застыло... Сердце ныло въ груди и нервная дрожь потрясала тѣло.

Водевилъ окончился.

Въ уборной появились новыя лица, раздавались веселые голоса, слышался смѣхъ. Съ Диной заговаривали, ее спрашивали о чемъ-то, ободряли, но она глядѣла съ недоумѣніемъ и, едва шевеля поблѣднѣвшими губами, отвѣчала тихо, односложно.

Началась драма, въ которой главную роль исполняла Динорина.

Дѣвушка точно переродилась, вступивъ на подмостки: она забыла свой страхъ, себя забыла и, съ талантливымъ реализмомъ, воплотила образъ страдающей героини.

— Кто это играетъ Еритскую?

— Откуда взялась эта актриса?

— О, какой могучій талантъ!

— Какая свѣжесть дарованія... Какое пониманіе типа!—говорили въ залѣ, и зрители жадно, боясь проронить слово, слушали пьесу, восхищаясь артистической иллюстраціей.

Успѣхъ Динориной превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія.

Ее вызывали послѣ каждаго акта съ увлеченіемъ и съ восторгомъ, а когда стройная фигура дѣвушки появлялась на сценѣ, рукоплесканія гремѣли съ захватывающимъ одушевленіемъ.

Наступило послѣднее дѣйствіе, самое трудное и сильное.

Динорина была превосходна.

Плакали не только дамы, но и мужчины, такъ естественно и просто передавала Дина страданія несчастной жены, неопѣненной гулякой-мужемъ.

Дрогнуло сердце тѣхъ, кто безпутно растратилъ свои силы и жизнь, заставляя горевать семью; радостно забилося оно въ груди такихъ же страдалицъ — женъ, понявшихъ, что театръ дѣйствительно можетъ служить школой нравовъ,

если и авторы, и артисты серьезнѣе взглянуть на свое великое дѣло...

Прячась ото всѣхъ и закрывая лицо платкомъ, стоялъ старикъ Райскій.

Да, Динѣ удалось довести отца до радостныхъ и горделивыхъ слезъ! Онъ понялъ причины успѣха Дины, онъ понялъ, что его дочь была отмѣчена Божественнымъ перстомъ, что могучую силу даровала ей природа...

Занавѣсъ опустился при громкихъ кликахъ восторженной публики. Всѣ зрители встали со своихъ мѣстъ, рукоплескали, кричали «браво», и Дина болѣе десяти разъ выходила на дружные, горячіе вызовы.

Молодая дѣвушка была счастлива и довольна, но назойливый червячекъ не вполне удовлетвореннаго самолюбія сосалъ ея сердце.

Дина бросала быстрые, лихорадочно-блестящіе взоры на толпу зрителей и жадно искала среди массы незнакомыхъ фізіономій два дорогихъ лица, отца и... Бѣлавина.

— Динорина! Динорина!—неистовствовала публика.

— Динорина, выходите!—Занавѣсъ! привычно распоряжался режиссеръ.

— Двѣнадцатый разъ вызвали!—завистливо считали актрисы.

Когда Дина, раскланявшись съ публикой, снова очутилась за-кулисами, знакомый, милый голосъ окликнулъ ее.

— Дина, моя голубка... задыхаясь шепталъ старикъ Райскій, обнимая дочь. — Да, ты меня сломила... *Я плакалъ.* Вѣрю теперь, вѣрю... въ тебѣ есть тотъ огонекъ, что зовется... нѣтъ, что ужь тутъ... талантъ въ тебѣ есть! — рѣшительно заключилъ онъ.

Вслѣдъ за старикомъ, во тьмѣ нагроможденных кулисъ выступилъ Бѣлавинъ.

Онъ крѣпко пожалъ руку дѣвушки и трепетнымъ, упавшимъ голосомъ прошепталъ:

— Поздравляю васъ... поздравляю! Вы вышли побѣдительницей изъ испытанія. Вы заставили меня повѣрить въ васъ... заставили понять, почему...

Дина радостно улыбнулась. Она взглянула на Бѣлавина и, наклоняясь къ нему, слегка вымолвила:

— Если вы *теперь* повторите то, что говорили мѣсяць тому назадъ, знаете, *что* я отвѣчу?..

— Надежда Алексѣевна, не играйте мною!

— Я отвѣчу «да», еще тише докончила дѣвушка.

Въ тотъ-же вечеръ за ужиномъ старикъ Райскій предложилъ тостъ за жениха и невесту, сердечно обнимая Бѣлавина и Дину.

— Вы не будете такимъ деспотомъ, какъ мой папа и позволите мнѣ играть на сценѣ?— съ ласковою улыбкой спрашивала Дина своего жениха нѣсколько дней спустя.

— О, дорогая моя, можно-ли говорить объ этомъ! Пока я не зналъ, *не убедился*, что у

васъ есть талантъ,—я глубоко возмущался, что и вы заразились моднымъ, чисто стаднымъ, стремленіемъ къ подмосткамъ; но теперь... Нѣтъ, Дина, вы должны учиться, должны играть, потому что олицетвореніе классическихъ типовъ воспитываетъ общество, смягчаетъ его нравы, дѣлаетъ лучше его, отзывчивѣе, потому что *при талантѣ* сценическіе подмостки превращаются въ кафедру,— и артистъ, иллюстрируя мысль автора, является живымъ звеномъ, связующимъ генія и толпу... На дорогу, моя дорогая! Вамъ выпадаетъ завидная доля! Со свѣточемъ правды въ рукахъ, съ любовью къ дѣлу, съ энергичнымъ стремленіемъ служить идеѣ, а не лицамъ — вы оставите воспитательный слѣдъ въ душѣ тысячи тысячъ...

— Не мое теперь дѣло, конечно,— вмѣшался старикъ,—но, все-таки, я скажу: двумъ богамъ молиться неудобно... Или семья, или сцена... То и другое требуютъ *всего человека*, а двоиться... неспособно...

Дина вопросительно взглянула на Бѣлавина.

Но счастливый женихъ горячо и убѣдительно сталъ возражать отцу.

— Нѣтъ, личное счастье найдетъ отголосокъ въ общемъ, между прочимъ говорилъ Бѣлавинъ.— Знать, что дорогое и любимое существо царить надъ толпою, что каждое слово его, жестъ, выраженіе голоса пробуждаютъ добрыя чувства, — развѣ это не наслажденіе? Только-бы не погасъ

— Дина, моя голубка... задыхаясь шепталь старикъ Райскій, обнимая дочь. — Да, ты меня сломила... *Я плакалъ.* Вѣрю теперь, вѣрю... въ тебѣ есть тотъ огонекъ, что зовется... нѣтъ, что ужь тутъ... талантъ въ тебѣ есть! — рѣшительно заключилъ онъ.

Вслѣдъ за старикомъ, во тьмѣ нагроможденных кулисъ выступилъ Бѣлавинъ.

Онъ крѣпко пожалъ руку дѣвушки и трепетнымъ, упавшимъ голосомъ прошепталъ:

— Поздравляю васъ... поздравляю! Вы вышли побѣдительницей изъ испытанія. Вы заставили меня повѣрить въ васъ... заставили понять, почему...

Дина радостно улыбнулась. Она взглянула на Бѣлавина и, наклоняясь къ нему, слегка вымолвила:

— Если вы *теперь* повторите то, что говорили мѣсяць тому назадъ, знаете, *что* я отвѣчу?..

— Надежда Алексѣевна, не играйте мною!

— Я отвѣчу «да», еще тише докончила дѣвушка.

Въ тотъ-же вечеръ за ужиномъ старикъ Райскій предложилъ тостъ за жениха и невѣсту, сердечно обнимая Бѣлавина и Дину.

— Вы не будете такимъ деспотомъ, какъ мой папа и позволите мнѣ играть на сценѣ?— съ ласковою улыбкой спрашивала Дина своего жениха нѣсколько дней спустя.

— О, дорогая моя, можно-ли говорить объ этомъ! Пока я не зналъ, *не убедился*, что у

васъ есть талантъ,—я глубоко возмущался, что и вы заразились моднымъ, чисто стаднымъ, стремленіемъ къ подмосткамъ; но теперь... Нѣтъ, Дина, вы должны учиться, должны играть, потому что олицетвореніе классическихъ типовъ воспитываетъ общество, смягчаетъ его нравы, дѣлаетъ лучше его, отзывчивѣе, потому что *при талантѣ* сценическіе подмостки превращаются въ кафедру,— и артистъ, иллюстрируя мысль автора, является живымъ звеномъ, связующимъ генія и толпу... На дорогу, моя дорогая! Вамъ выпадаетъ завидная доля! Со свѣточемъ правды въ рукахъ, съ любовью къ дѣлу, съ энергичнымъ стремленіемъ служить идеѣ, а не лицамъ — вы оставите воспитательный слѣдъ въ душѣ тысячи тысячъ...

— Не мое теперь дѣло, конечно,— вмѣшался старикъ,—но, все-таки, я скажу: двумъ богамъ молиться неудобно... Или семья, или сцена... То и другое требуютъ *всего человека*, а двоиться... неспособно...

Дина вопросительно взглянула на Бѣлавина.

Но счастливый женихъ горячо и убѣдительно сталъ возражать отцу.

— Нѣтъ, личное счастье найдетъ отголосокъ въ общемъ, между прочимъ говорилъ Бѣлавинъ.— Знать, что дорогое и любимое существо царитъ надъ толпою, что каждое слово его, жестъ, выраженіе голоса пробуждаютъ добрыя чувства, — развѣ это не наслажденіе? Только-бы не погасъ

свѣтильникъ истины... Только не размѣнивать бы свой талантъ на мелочи, не льстить дурнымъ инстинктамъ толпы, чему такъ охотно служатъ современные драматурги!

Пророчество Бѣлавина оправдалось.

Дина много и усердно занималась, но... попасть на большую сцену ей не удалось. Не было у *нея ни волчьихъ зубовъ, ни лисьего хвоста*, всюду и вездѣ необходимыхъ въ наше время...

Дина Бѣлавина сдѣлалась извѣстною провинціальною артисткой и многіе говорятъ ей сердечное спасибо за то художественное наслаждение, которое она доставляетъ своею игрой.



СЕБЯЛЮБЫ.

(Разсказъ.)



Софья Павловна Магнатова была внѣ себя отъ негодованія. Она поѣхала съ визитомъ къ жёнѣ товарища прокурора, и ее не приняли!

Магнатовы вели роскошную жизнь въ городѣ Энскѣ, давали блестящія балы и пользовались общимъ уваженіемъ. Илья Васильевичъ, мужъ Софьи Павловны, занималъ видное мѣсто, велъ большую игру, имѣлъ одинъ изъ лучшихъ конскихъ заводовъ, и считался прекраснѣйшимъ человѣкомъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Софья Павловна, или Сафѣ, какъ называлъ ее влюбленный мужъ, была красива, умна, изящна, и конечно, старалась вести самую разсѣянную жизнь.

За послѣдніе годы состояніе Магнатовыхъ пошатнулось, но объ этомъ говорили только шопотомъ, да и то враги Ильи Васильевича или завистницы Софьи Павловны.

По внѣшности, все обстояло благополучно. Домъ Магнатова казался полною чашею; двое дѣтей хо-

рошенькія и нарядныя, предестно болтали по французски и граціозно танцовали; двѣ гувернатки, парижанка и англичанка, не могли нахвалиться своими мѣстами; прислуга имѣла возможность лѣниться и наживаться, а потому превозносила своихъ господъ, словомъ, никто не могъ бы сказать ничего дурнаго про директора банка, Магнатова, или про его жену.

Никто!.. А между тѣмъ, въ городѣ и въ губерніи уже распространялась тревожная молва...

Толковали, и вполнѣ основательно что ежедневно пріѣзжаютъ вкладчики и требуютъ свои деньги.

Правда, вклады возвращались безъ всякой задержки, но самое извѣстіе, что провинціалы заволновались, внушало опасеніе.

Вчера, поздно ночью, вернувшись изъ клуба, Магнатовъ вошелъ въ будуаръ жены.

Софья Павловна тоже только-что пріѣхала съ бала и находилась въ нервномъ состояніи. Она ходила по комнатѣ, нетерпѣливо снимая длинныя перчатки, и бросилась на встрѣчу къ мужу.

— Иля, милый, что случилось? спрашивала она, всматриваясь въ лицо Магнатова.

— Ничего, Сафѣ... Рѣшительно ничего! Да ты о чемъ спрашиваешь? съ тревогою вымолвилъ онъ, и любовно, съ какою-то особенною нѣжностью, цѣловалъ ея руки.— О чемъ ты беспокоишься, моя радость ненаглядная?

— Ничего дурнаго не случилось? Это правда?

— Ахъ, какъ я не люблю такихъ вопросовъ? раздражаясь отъ пристальнаго взгляда жены, замѣтилъ Магнатовъ.— Ты вѣрно огорчена чѣмъ-нибудь?... Модистка платью не успѣла спить? добавилъ онъ, стараясь улыбнуться, но вмѣсто улыбки получилась гримаса, и подозрѣнія молодой женщины перешли въ увѣренность.

— Тамъ, на балу, разговоры... Чуть не въ лицо мнѣ дѣлали намеки, прерывающимся тономъ заговорила она.— Рассказываютъ...

Она тяжело перевела дыханіе, и наконецъ вымолвила:

— Говорятъ... растрата въ банкѣ... Большая!..

Одно мгновеніе Магнатовъ подумалъ: не сказать-ли женѣ всю прарду, не просить-ли ея нравственной поддержки, такъ какъ вѣдь ради ея удовольствія бросались бѣшенныя деньги на заграничныя поѣздки и роскошныя туалеты, но сейчасъ же отказался отъ нелѣпой мысли.

Не поддержку, а укоры встрѣтитъ онъ въ своей подругѣ; не совѣтъ услышитъ онъ, а истерическія рыданія.

Но теперь ему не до того, чтобы ухаживать за нею. Вмѣстѣ пользовались они широкою жизнью, вмѣстѣ наслаждались, но отвѣтъ онъ будетъ держать одинъ...

Сафѣ—женщина, хорошенькая и дорогая игрушка, слабое созданье, развѣ можетъ она быть виновата?

— Охота тебѣ обращать вниманіе на всякія сплетни, суровымъ тономъ возразилъ Магнатовъ— Ты знаешь, сколько у меня враговъ. Все пустяки! Никакихъ затрудненій не было и нѣтъ, а чтобы болтать перестали, надо задать хорошій обѣдъ. Сдѣлай мнѣ одолженіе, Сафо, съѣзди къ женѣ товарища прокурора и пригласи ее и мужа къ намъ на обѣдъ. Можешь?

— Развѣ нельзя написать?

— Нѣтъ, нѣтъ, лучше сдѣлай визитъ. Я и самъ заѣду къ нимъ, и тебя прошу.

— Не нравится мнѣ эта особа...

Магнатовъ нахмурилъ брови.

— Неужели трудно исполнить мою просьбу?

И вотъ, Софья Павловна поѣхала къ Нейковой, а ее не приняли, тогда какъ для другихъ жена товарища прокурора была дома...

II

Возвратившись домой, Софья Павловна съ нетерпѣніемъ ожидала мужа, но онъ не пріѣзжалъ изъ банка, хотя засѣданіе тамъ оканчивалось въ три часа.

Молодая женщина послала лакея, и онъ принесъ потрясающее извѣстіе:

— Изъ Петербурга пріѣхалъ чиновникъ. Производитъ внезапную ревизію. Не все благополучно.

Распрашивать слугу о подробностяхъ—было неудобно; поѣхать самой въ банкъ—точно такъ же, и Софья Павловна переживала мучительные часы неизвѣстности.

Никто изъ друзей или поклонниковъ не являлся къ Магнатовымъ въ это утро.

Всѣ почти знали, что надъ головою директора виситъ дамокловъ мечъ, и благоразумно выжидали, чѣмъ окончится ревизія. Хорошо—такъ они шумно выкажутъ свою симпатію, даже зададутъ обѣдъ съ тостами и рѣчами, дурно—самъ виновать. Дѣлай, но не попадайся!

Друзья фарисейски умоютъ руки и перекочуютъ къ другому хлѣбосолу, но такъ же не будутъ интересоваться, на какія деньги угощаютъ и поятъ ихъ!

Зачѣмъ волновать себя раньше времени!

Дѣти вернулись съ прогулки и вошли въ будуаръ матери. Обѣ дѣвочки были веселы и милы; гувернантки предупредительно любезны; но и смѣхъ дѣтей, и гортанный говоръ иностранокъ—все раздражало сегодня Софью Павловну.

— Идите. У меня голова болитъ... Не позволяйте дѣтямъ шумѣть, m-me! сказала Магнатова.

— Теперь дѣти будутъ играть на роялѣ, дѣловито возразила англичанка. Это ихъ часъ.

— Ахъ, не надо! Потомъ! раздражительно вымолвила Магнатова.—У меня голова болитъ.

Гувернатки переглянулись и ушли, вмѣстѣ съ обрадованными дѣвочками.

Болѣе живая и сообщительная, французенка слышала уже, что въ банкѣ творится нѣчто неладное и предупреждала англичанку, но та не вѣрила ей. Теперь во взглядѣ французенки свѣтилось торжество.

Магнатова замѣтила, что m-ше Луиза проникла въ позорную тайну, и ей стало еще тяжелѣе.

«Знають! Издѣваться будутъ. Господи, за что же? Вотъ она, мужская любовь! Подвергнуть меня такому горю! И какъ Иля могъ это сдѣлать? Какъ рѣшился? И отчего онъ не идетъ такъ долго? Боже, какая мука!» терзалась бѣдная женщина, все еще не понимая собственной вины, и думая только о томъ, что скажутъ люди.

Наконецъ Илья Васильевичъ вернулся. Онъ прошелъ прямо въ кабинетъ, постарѣвшій, осунувшійся и согбенный, боязливо озирающійся вокругъ, словно затравленный звѣрь, ожидающій новой за-
сады.

Затворивъ двери на ключъ, онъ бросился къ столу и сталъ собирать разныя бумаги. Однѣ изъ нихъ онъ торопливо сжигалъ, другія пряталъ въ карманъ, и постоянно прислушивался къ долетавшимъ до него звукамъ, то блѣднѣя, то краснѣя отъ страха.

— Да, да, бѣжать, рѣшалъ онъ мысленно.— Одно средство! Бѣлянкинъ внесъ за меня тридцать тысячъ залога. Я подведу его, но что же дѣлать.

Со временемъ возвращу. Непремѣнно! Развѣ можно мнѣ остаться здѣсь? Послѣ той жизни, которую я велъ и вдругъ... въ острогъ! Это еще начало, а тамъ, скамья подсудимыхъ, позоръ, и наконецъ ссылка. Сафо! Сафо! Вѣдь не понимала ты и никогда не поймешь, что ради любви къ тебѣ, ради твоей ласки я рѣшился... Думалъ справлюсь, извернусь. А тутъ падежъ лошадей, пожаръ въ имѣнны. Сократить расходы нельзя. Ты сказала бы: разлюбилъ! Другіе осуждать стали бы... Нѣтъ, зачѣмъ я виню другихъ? Самъ виноватъ, самъ!

Дѣтскій смѣхъ донесся до слуха Магнатова, и заставилъ его вздрогнуть.

— Дѣвочки мои бѣдныя! схватившись за голову, простоналъ онъ, и быстро спряталъ въ карманъ револьверъ, бумажникъ и портсигаръ.

«Скорѣе! Пора! Сейчасъ идетъ поѣздъ. Никто не подумаетъ, что я успѣлъ собраться!»

Магнатовъ надѣлъ пальто и пошелъ къ дверямъ. Отворяя ихъ, онъ обернулся, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на привычную обстановку, на большой портретъ жены, изображенной въ роскошномъ балльномъ платьѣ, на многочисленныя карточки дѣтей.

Проститься съ ними, обнять ихъ онъ не имѣлъ права.

Открывъ двери, Магнатовъ остолбенѣлъ. Передъ нимъ стояла Софья Павловна.

По выраженію лица ея онъ понялъ, что Сафо все знаетъ. Смущеніе мужа и его подавленность

подказали молодой женщинѣ, что самое худшее изъ ея предположеній—смягченная истина, что произошло нѣчто невѣроятное и ужасное.

III.

Ты собрался бѣжать? послѣ недолгаго молчанія вымолвила Сафо, понявшая замыселъ мужа. Ты хотѣлъ бросить меня... дѣтей?

Прошло нѣсколько секундъ, прежде чѣмъ онъ могъ отвѣтить. Тяжело опустившись въ кресло, Магнатовъ поникъ головою.

Возможность бѣжать исчезала съ каждою минутою. Жена помѣшала... Она сама не понимала, что бѣгство спасло бы всю семью отъ позора, отъ униженія, отъ гнетущей нищеты. Помѣшала,—ну, такъ пусть же знаетъ правду.

И Магнатовъ сказалъ ей все.

Онъ назвалъ грандіозную цифру растраты, упомянулъ о подлогахъ и другихъ нарушеніяхъ закона, но сообщалъ все это машинально, какъ будто разговоръ шель не о немъ лично.

Софья Павловна не могла понять, что самымъ фактомъ преступленія мужъ перемучился давно, въ то время, когда, день за днемъ, совершалась и росла растрата, а теперь ему даже легче дѣлается на душѣ, потому что тяжесть тайны пе-

рестала угнетать его. Правда, явились другія ощущенія, но онѣ были еще новы, и благодаря своей новизнѣ, казались менѣе тягостны.

— Но что же можно сдѣлать, Иля? Отдай имъ имѣніе, заводъ, все... Тогда должны простить?

— Имѣніе и заводъ—заложены.

— Ну, мебель, обстановку... Господи, наша гостиная стоитъ восемь тысячъ.

— Стоила! Она пойдетъ съ аукціона за грошъ... за картины дадутъ пустяки.

Въ душѣ Сафо происходила борьба.

Она хотѣла сказать: «а мои брилліанты!» и не находила мужества произнести это слово.

Магнатовъ помогъ ей.

— Если меня не будетъ, къ тебѣ и къ дѣтямъ отнесутся снисходительнѣе, оттого я и хотѣлъ...

— Нѣтъ, нѣтъ... вмѣстѣ пользовались радостями жизни, вмѣстѣ и горе... надо...

Илья Васильевичъ взглянулъ на жену влажнымъ отъ слезъ взоромъ. Ему хотѣлось поцѣловать ея руку, но онъ не смѣлъ выразить свою ласку, боясь протеста или рѣзкаго слова.

Чувство самопожертвованія вспыхнуло въ душѣ Сафо. Воображая себя дѣйствительно героинею, она сказала:

— Возьми мои брилліанты, всѣ, всѣ, фамильные, и твои подарки... Мнѣ не жаль ихъ, право не жаль!

Молодая женщина ожидала взрыва благодарностей и похвалъ своему героизму, но Магнатовъ молчалъ.

— Надѣюсь, цѣнность брилліантовъ такъ велика, что покроетъ всю растрату!

— Милая, упавшимъ тономъ заговорилъ Магнатовъ, и ему теперь было во сто разъ тяжелѣе, чѣмъ полчаса назадъ, когда онъ сознавался женѣ въ растратѣ и подлогахъ, — милая, бѣдная моя Сафо. Ты не знаешь еще... Твои брилліанты... они заложены!

— Неправда! Они у меня!

— Они заложены! повторилъ Магнатовъ. — Я взялъ подъ нихъ у ювелира, на честное слово, большую сумму... Вкладчики требовали денегъ... Я потерялъ голову, надѣялся удовлетворить ихъ и отодвинуть катастрофу. Вѣдь вся бѣда въ неожиданности! Я бы обернулся... Непремѣнно! Видишь, Сафо, мнѣ слѣдовало скрыть правду... понижая голосъ, заключилъ онъ, слыша рыданія молодой женщины.

— Это возмутительно! Гадко! Отвратительно! задыхаясь заговорила Софья Павловна. — Свою жену... семью свою — обокрасть! О, какой вы низкій, гадкій человекъ. Я васъ презираю! Мои вещи... мои брилліанты украсть!

Магнатовъ не возражалъ и не оправдывался. Эти упреки были ему пріятнѣе, чѣмъ покровительственная нѣжность, чѣмъ снисходительное презрѣніе. Въ душѣ его обрывались связующія

нити, и Сафо, любимая, прекрасная Сафо, представлялась самою вульгарною женщиною, осыпающею укорами того, кто погибалъ ради нея.

Изливъ все свое негодованіе, Софья Павловна ушла. Теперь она глубоко ненавидѣла мужа, находила его преступнымъ, низкимъ и вѣроломнымъ.

— Жену свою обокралъ! Свою жену обокралъ! повторяла она сотни разъ, и, схвативъ шкатулку съ драгоценностями, придумывала, куда бы скрыть ее. — На честное слово взялъ! Мнѣ-то что за дѣло... Не отдамъ... не отдамъ!

Между тѣмъ, Магнатовъ все-таки рѣшилъ бѣжать.

Онъ захватилъ съ собою деньги, револьверъ, и оставивъ женѣ письмо съ значительною пачкою ассигнацій, незамѣтно вышелъ изъ дома.

Взявъ извозчика, онъ приказалъ везти себя на полустанокъ, находившійся въ семи верстахъ отъ города, но... бѣжать ему не удалось.

Бѣлякинъ, испугавшійся за цѣлость внесеннаго залога, взялъ его обратно, и Магнатова должны были арестовать.

Илью Васильевича изловили и привезли обратно, опозореннаго и измученнаго.

Въ его квартирѣ нужно было сдѣлать обыскъ, и Магнатовъ снова очутился въ своемъ кабинетѣ.

Чѣмъ-то чуждымъ повѣяло на него теперь отъ этихъ знакомыхъ стѣнъ. Холодно и враждебно глядѣла на него съ портрета красивая

женщина въ бальномъ платьѣ, и даже дѣтскія личики перестали улыбаться... Въ ихъ чистыхъ глазахъ какъ бы свѣтился укорь.

Слѣдователь, неоднократно винтившій съ Магнатовымъ и еще недавно обѣдавшій у него, хотѣлъ полубезничать съ подсудимымъ.

— Не угодно-ли вамъ повидаться съ женою? Это можно, предложитъ онъ.

— Я... нѣтъ, не надо... съ мучительнымъ колебаніемъ возразилъ Магнатовъ.

— Можетъ быть, съ дѣтьми?

— Нѣтъ! Нѣтъ! рѣшительно отвѣчалъ Илья Васильевичъ, какъ убійца, боявшійся увидѣть свою жертву.

IV.

Магнатова увели въ острогъ.

Увели! Онъ шелъ по улицамъ роднаго города, въ сопровожденіи полиціи и толпы зѣвакъ, интересовавшихся такимъ зрѣлищемъ.

— Прежде коляска... рысаки, а теперь пѣхтурою! говорили въ толпѣ.

— Сухой изъ воды выйдетъ! На адвоката, чай, припрятано... Оправятъ!

— Не говори! Не хвалятъ нынче за такія дѣла! Магнатовъ слышалъ эти рѣчи, видѣлъ взгляды, которыми его провожаютъ, встрѣчалъ людей,

тѣмъ или другимъ обязанныхъ ему, и ни въ комъ не находилъ ни капли участія.

А вѣдь онъ былъ человекъ! Многие на его мѣстѣ могли бы тоже увлечься и совершить преступленіе, многие и совершали его, но... они еще не понались, и потому гордо поднимали свои головы.

Виновный, онъ понесетъ кару закона. Онъ будетъ искупать свое преступленіе, но зачѣмъ понадобился этотъ позоръ, зачѣмъ ведутъ его по людной улицѣ, среди празднои, жестокой и грубой толпы? Кому нужны эти муки виновнаго?

Магнатовъ размышлялъ, но роптать не смѣлъ. Его горе было слишкомъ глубоко, чтобы изливаться въ жалобахъ.

Оставшись одна, Софья Павловна не находила себѣ мѣста.

Она ходила по всѣмъ комнатамъ, но все и вездѣ напоминало ей минувшее, — то хорошее минувшее, когда счастье и любовь царили въ этомъ затихшемъ домѣ, когда ея слово, ея улыбка являлись закономъ.

Злоба противъ мужа успѣла исчезнуть, и ей было безмѣрно жаль его.

«Безхарактерный, увлекающійся... да, но онъ всегда былъ такой, а она любила его... Онъ никогда не соображалъ: можно что-нибудь сдѣлать, или нельзя. Она желала—и онъ исполнялъ, не ожидая ея просьбы».

Такъ пролетѣла вся жизнь. Ни одна жена не была такъ счастлива, какъ она. Всѣ завидовали ей, всѣ восхищались ея нарядами. А въ Парижѣ! Ее называли «княгиней», объ ея туалетахъ писали въ газетахъ, считали миллионершею. Развѣ спросила она когда-нибудь: откуда эти шальные деньги? Нѣтъ, она платила мужу поцѣлуями и нѣжностью; она сообщала ему о своихъ побѣдахъ, и онъ гордился ими!

— Я тоже виновата... да, да, виновата! являлось позднее соображеніе. — Я не удерживала его, нѣтъ... Лестью и похвалами я возбуждала его щедрость, ласкою и любовью я опьяняла его и влекла по наклонной плоскости!

Софьѣ Павловнѣ стало жутко.

Преступленіе мужа и ея собственное поведение представлялись теперь въ иномъ свѣтѣ, даже исторія съ брилліантами теряла прежній колоритъ, и молодой женщинѣ дѣлалось совѣстно за свои укоры.

«Онъ и такъ несчастенъ, а я... Вмѣсто поддержки, я огорчила его!»

Магнатова пошла въ дѣтскую. Ей захотѣлось видѣть дѣтей, быть съ ними, почувствовать ихъ ласку, прильнуть къ нимъ, услышать ихъ милый лепетъ.

У дверей она остановилась.

М-ле Луиза разговаривала съ англичанкою и философствовала по поводу случившагося.

— Кто же виноватъ, говорила она, — конечно, madame! Она вела себя не какъ жена. Она раззоряла мужа, толкала его на преступленіе. Онъ любилъ ее, а она, она любила только жизнь... полную блеска. Вотъ насъ, французенокъ, братья, горделиво закончила она. — Но мы почти никогда не раззоряемъ своихъ мужей. Другихъ, можетъ быть, но семья — святыня!

Что отвѣчала англичанка, Магнатова не слышала. Ее поразило восклицаніе старшей дѣвочки, очевидно слушавшей разговоръ гувернантокъ.

— Значить, мама виновата, что папу въ тюрьму посадили? Бѣдный, бѣдный папуля... А маму не посадятъ?

— Ты говоришь глупости, Элла! гнѣвно крикнула французенка. — Садись и играй въ кубики. Противный ребенокъ! Ей до всего есть дѣло... Отдохнуть не дастъ!

— Скоро совсѣмъ отдохнете, сентенціозно вымолвила англичанка. — Завтра намъ откажутъ... Да я и сама не хочу жить въ домѣ... вора!

Магнатова, шатаясь, ушла къ себѣ и долго лежала на диванѣ, находясь въ состояніи полной протраціи.

Разговоръ гувернантокъ и восклицаніе ребенка, въ связи съ собственными ощущеніями, совершили полный переворотъ въ ея душѣ.

Теперь она все поняла, все взвѣсила, но возврата не существовало... Не было возможности

искупить свою вину, тогда какъ другой искупалъ ее за нихъ обоихъ...

Продолжать эту пытку... замѣнить дѣтямъ отца, работать и трудиться, для семьи, или послѣдовать за мужемъ въ Сибирь, утѣшая его, облегчая его положеніе? Нѣтъ, такой подвигъ казался ей ничтожнымъ...

Привыкнувъ съ дѣтскихъ лѣтъ рисоваться и видѣть въ жизни вереницу свѣтлыхъ, праздничныхъ дней, избалованная Сафо съ ужасомъ думала о будущемъ.

Чувство долга—было для нея пустымъ словомъ, обязанности къ мужу и дѣтямъ—тяжелюю обузою... Вмѣстѣ съ возможностью жить привычною жизнью—исчезалъ самый смыслъ бытія.

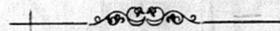
На утро домашніе узнали, что Магнатова отравилась, и смерть ея произвела на всѣхъ потрясающее впечатлѣніе.

Нервные барыни считали ее героинею, мужчины ужасались, молодые люди и барышни поэтизировали ея поступокъ, а блѣдный, истерзанный Илья Васильевичъ еще ниже опустил голову, услышавъ о случившемся.

«Могла помочь мнѣ теперь, думалось ему,—и не захотѣла! Могла поддержать и меня, и семью... Могла замѣнить дѣтямъ отца—и не захотѣла! Вся-то жизнь для себя лично...»

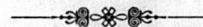
«А ты не для себя жилъ? шепталъ ему голосъ совѣсти.—Не для своей отрады рядилъ ты

жену, какъ куколку, и, упиваясь лестью, кормилъ до отвала различныхъ прихлебателей? Не ради своего покоя растрчивалъ ты чужія деньги? Нѣтъ, не тебѣ обвинять ее, и конечно, не ей судить тебя! Вы—последніе могикане... Уходите прочь... Давайте дорогу новымъ людямъ, съ новыми идеалами!»



ПОНЯЛЪ.

(Эскизъ).



Предсѣдатель произнесъ резюме и, вручивъ вопросный листъ присяжнымъ засѣдателямъ, поднялся изъ за стола съ радостнымъ сознаниемъ предстоящаго отдыха.

Старшина, сумрачный, желтолицый чиновникъ въ виць-мундирѣ, степенно двинулся впередъ, и вслѣдъ за нимъ тронулась пестрая вереница засѣдателей. Тутъ были: военный, два купца, разночинець, но большій процентъ представителей общественной совѣсти являлся тѣмъ неопределеннымъ элементомъ, про который привыкли говорить: «сѣрый составъ».

На скамьѣ обвиняемыхъ сидѣлъ мужчина лѣтъ тридцати, съ блѣднымъ испитымъ лицомъ, и нервно кусалъ губы. Когда старшина проходилъ мимо него, взгляды судьи и подсудимаго встрѣтились. Обвиняемый еще ниже опустилъ голову и началъ комкать край арестантскаго халата, чувствуя, что этотъ сумрачный чиновникъ, въ рукахъ котораго очутилась его судьба—не пощадить, не пожалѣть и безтрепетно придавить его буквою закона.

— Г. судебный приставъ, намъ бы чайку. Распорядитесь! сказалъ старшина.

Всѣ засѣдатели вошли въ обширную комнату, уставленную мягкою мебелью, съ длиннымъ столомъ по срединѣ и расположились въ непринужденныхъ позахъ. Старшина—чиновникъ, Илья Петровичъ Зоринъ, заложивъ руки назадъ, глубокомысленно ходилъ по комнатѣ, время отъ времени пожимая плечами. Остальные—кто зѣвалъ, кто потягивался, кто бесѣдовалъ въ полголоса.

— По моему Липатовъ виновенъ безусловно! произнесъ Зоринъ, приближаясь къ столу и оглядывая сотоварищей смѣлымъ взглядомъ.

— Но... но... поз-воль-те! протянулъ разношнечъ, крайне довольный случаемъ показать свое значеніе.—Вліяніе среды... Она—гулящая баба...

— Какое тутъ вліяніе среды! вскипятился молоденькій чиновничекъ, подобострастно поглядывая на Зорина.—Эдакъ каждаго убійцу и негодя оправдывать можно! Человѣкъ напѣется до чертиковъ, хватить жену утюгомъ, на мѣстѣ положить женщину, а мы скажемъ: вліяніе среды! Слабое созданіе надо лелѣять, холить. Гулящая—исправь... Но любовью, лаской...

— Эхъ, господинъ, возразилъ рыжебородый купецъ,—на какую бабу тоже попадешь. Иная сама со свѣту сживетъ. Да вотъ хоть къ примѣру взять Ивана Карповича, добавилъ онъ, указывая на сосѣда, бородатаго купца съ черной бородой въ видѣ лопаты.—Тоже знаетъ..

Иванъ Карповичъ молча отошелъ въ другую сторону, продолжая сосредоточенно думать о чемъ-то. Выраженіе лица у него было озабоченное. Онъ пытливо поглядывалъ на всѣхъ, словно ища разъясненія загадки, томившей его цѣлый часъ, и жадно прислушивался ко всѣмъ разговорамъ. Впервые исполняя обязанности засѣдателя, онъ интересовался каждымъ фактомъ и словомъ, но дѣло Липатова больно ударило его по сердцу, и въ немъ заныли такія струны, о существованіи которыхъ онъ не подозрѣвалъ даже.

На юридическомъ языкѣ преступленіе Липатова называлось: «нанесеніемъ тяжкихъ побоевъ, слѣдствіемъ которыхъ была смерть», но когда Иванъ Карповичъ выслушалъ обвинительный актъ, когда передъ нимъ прошолъ рядъ свидѣтелей, повторявшихъ: «билъ нещадно», «билъ не жалѣючи», когда прокуроръ произнесъ бичующую рѣчь, доказывая какія муки испытывала несчастная женщина, раба пьянаго мужа, когда защитникъ просилъ снисхожденія, ссылаясь на грубость и необразованіе подсудимаго—ему, судья, представителю общественной совѣсти, стало жутко и страшно.

Слишкомъ живо и ярко вставали картины личной жизни и то, что онъ еще вчера считалъ своимъ неотъемлемымъ правомъ—сегодня, сейчасъ, являлось преступленіемъ.

— Бить женщину! Мать своихъ дѣтей! возмутился чиновничекъ.

— Воспитательный примѣръ для остальныхъ негодяевъ.

— Но, знаете, защитникъ вѣрно освѣтилъ вопросъ. Въ этой низменной средѣ подобное обращеніе вполне естественно... Ребенкомъ онъ привыкъ видѣть, какъ колотятъ его мать; самъ жежится—дѣлаетъ тоже... Надо понимать народную жизнь... Нашу мѣрку прикладывать нельзя... говорилъ почтенный старикъ.

Иванъ Карповичъ приблизился къ собесѣдникамъ и жадно слушалъ ихъ рѣчи. Стаканъ съ чаемъ дрожалъ въ его рукахъ, и Зоринъ тревожно оглянулся, боясь быть облитымъ.

— Вы говорите «привыкъ»! воскликнулъ докторъ.—Мало-ли что! Вотъ у меня случай въ практикѣ былъ... Достаточная семья и вдругъ жена, что ни годъ мертваго ребенка рождаетъ, да-съ! Меня заинтересовала эта исторія. Оба, мужъ и жена, здоровые, сильные, работы тяжелой нѣтъ, а ни одного ребенка живаго... Что же оказалось? Мужъ чуть напѣется—колотить жену...

— Такъ развѣ, г. докторъ?... Такъ развѣ *отъ этого* ребята неживые рождаются? задыхаясь спросилъ Иванъ Карповичъ.

— Понятное дѣло! холодно возразилъ докторъ и, пожимая плечами, продолжалъ разговоръ съ Зоринымъ.

Иванъ Карповичъ опустился въ кресло и болѣе не вмѣшивался въ общую бесѣду. Когда къ

нему подошли, чтобы записать его голосъ—онъ торопливо поднялся и замахалъ руками.

— Не могу я!... Не могу! растерянно прошепталъ онъ.

Не понимая причины его отказа, Зоринъ спокойно и вразумительно, но не безъ насмѣшливой нотки, началъ объяснять, что право подать голосъ за оправданіе, если этого хочется, принадлежитъ каждому.

— Это дѣло свободной совѣсти, добавилъ Зоринъ.—Если вы находите, что поступокъ Липатова не заключаетъ въ себѣ ничего преступнаго, то конечно... Ваша воля... Большинство высказалось за обвиненіе! заключилъ онъ горделиво, такъ какъ его мнѣніе восторжествовало.

— Не могу я... не могу!... ~~Иванъ~~ Иванъ Карповичъ.

Его окружили всѣ, улыбаясь и переглядываясь. Кто то упомянулъ, что вообще неприятно выносить обвинительный вердиктъ; другой замѣтилъ, что наказаніе смягчается, такъ какъ дано снисхожденіе; третій сказалъ, что жена Липатова была распутная бабенка, а Иванъ Карповичъ все еще стоялъ съ перомъ въ рукахъ и тупо смотрѣлъ на этихъ довольныхъ и спокойныхъ людей.

— Одиннадцать за обвиненіе! произнесъ Зоринъ.—Жаль, что не единогласно...

— Не все-ли равно, Илья Петровичъ! Тайна совѣщанія! подскочилъ чиновничекъ.—А вы ку-

да ужинать? Поѣдте къ Кюба... у него славныя устрицы.

Раздался кризывной звонокъ. Въ залѣ было пустынно. Судьи входили не спѣша, продолжая бесѣдовать между собою, и только Линатовъ, позеленѣвшій, съ темными полосами вокругъ глазъ, пытливо и трепетно смотрѣлъ въ лицо присяжныхъ.

Зоринъ молодцовато подалъ предсѣдателю вопросный листъ, и черезъ мгновенье раздался приговоръ:

— Виновенъ!

Въ воцарившейся тишинѣ, когда судъ постановилъ наказаніе, громко и ясно пронесся голосъ Ивана Карповича:

— Г. предсѣдатель... я... я... тоже виноватъ!

Произошло замѣшательство. Никто не могъ понять, гдѣ говорятъ, что случилось... Приставъ засуетился. Предсѣдатель взялся было за колокольчикъ, но скоро все объяснилось.

— Я виноватъ! публично каялся Иванъ Карповичъ, и вся его крупная фигура дрожала отъ волненія. — Я тоже... свою жену... постоянно... билъ... Мертвенькіе рождались!

Глухое рыданіе вырвалось изъ груди Ивана Карповича.

ПРОЩЕНЬЙ ДЕНЬ.

(Эскизъ).

I.

Горяевъ опомнился, но было уже поздно.

Рѣзкое, рѣшающее слово сорвалось съ его губъ, и онъ видѣлъ, какъ поблѣднѣла жена, какъ она, прислонившись къ косяку, опустила руки и, точно не довѣряя своему слуху, съ вопросительнымъ выраженіемъ повторяла его фразы:

— Никогда не любилъ?! Никогда?! Женился такъ?... Не любилъ?!.. И... дѣтей не любилъ?!..

Горяевъ промолчалъ. Въ эти мгновенья, дѣйствительно, онъ никого не любилъ и никого не жалѣлъ, кромѣ себя, кромѣ своей разбитой, загубленной жизни.

Анна Ивановна шатаясь вышла изъ комнаты. Мужъ проводилъ ее спокойнымъ, холоднымъ взоромъ. Онъ не шевелился, не измѣнялъ положенія и точно ожидалъ чего-то. Изъ будуара жены донеслись тихія рыданія.

— Такъ и есть, — прошепталъ онъ, пожимая плечами. — Теперь начнутся слезы, истерики, раздирательныя сцены... Явятся ея сестрица, тетуш-

ка, всякія кумушки, и пойдуть жалобы, совѣщанія. Это ужасно! Вся моя вина заключается въ томъ, что я не могу, «какъ другіе», быть пришитымъ къ юбкѣ моей супруги... не могу «выѣзжать» съ нею... проводить вечера въ домѣ ея родныхъ... И за это—переносить мѣщанскія сцены, выслушивать упреки... Ахъ, какъ мнѣ все, все надоѣло!

Горяевъ пошелъ въ свой кабинетъ и приблизился къ окну, выходящему на улицу. Оскорбительный шумъ и гамъ масляничнаго веселья, звонъ бубенчиковъ и звуки гармоній, дерзко врывавшіеся въ растворенную форточку, заставили его поморщиться. Ему сдѣлалось еще тяжелѣе и, страстно, во что бы то ни стало, захотѣлось уединенія.

Дверь кабинета скрипнула, и на порогѣ ея появилась маленькая, прелестная дѣвочка пяти лѣтъ, съ бѣлокुरыми волосами и карими, пытливыми глазками.

— Папочка, папа, можно намъ съ Васей покататься на чухонцѣ? Папочка! Ты общалъ... Можно?—спросила она.

— Спроси у матери, Вѣрочка... Я не знаю...

— Мама плачетъ... ее нельзя беспокоить,—очевидно повторяя слова няни, возразила дѣвочка.—Папа... ты *опять* обидѣлъ маму?!

Это «опять» взорвало Горяева.

— Иди къ нянѣ и не смѣй мнѣ мѣшать! Иди же, иди... Я сказалъ...—сурово произнесъ онъ и,

видя что Вѣрочка медлитъ исполнить его волю, взялъ ее за руку и вывелъ изъ кабинета.

Первенецъ и любимица родителей, дѣвочка не привыкла къ подобному обращенію. Ея маленькое сердечко сжалось отъ горя. Ей вспомнилось, что катанье, съ которымъ она такъ мечтала вмѣстѣ съ братишкой, Васей, не состоится; что мама—плачетъ и къ ней не пускаютъ; что папа—опять сердится, и... сама заплакала...

Старушка-няня, гдѣ-то за дверью поджидавшая исхода миссіи Вѣрочки, мгновенно очутилась возлѣ дѣвочки... Она начала гладить ее по головкѣ, утѣшать и въ то же время раздраженнымъ тономъ говорила:

— Въ прощенный день, и то свой характеръ доказывать надо... Не плачь, Вѣруня... Младенца даже обидѣлъ!... Жена, бѣдная, цѣлые дни плачетъ, а ему и горя мало... Рыщеть по городу! Пойдемъ, Вѣруня, я тебѣ сказочку расскажу... Богъ съ ними... У насъ, въ простонародьи, и то лучше поступаютъ...

Няня увела ребенка и громко, со злостью, хлопнула дверью.

Горяевъ, отъ слова до слова слышавшій всю воркотню старушки, съ бѣшенствомъ сжалъ кулаки.

— И мнѣ... мнѣ сидѣть дома!... Вѣдь я отлично понимаю,—эта старая колдунья нарочно подслана... Даже ребенка научаютъ говорить мнѣ колкости... Семейныя радости, вотъ онѣ! Сколь-

ко разъ я просилъ: отпусти эту каргу, перестань принимать своихъ кумушекъ.»—Нѣтъ! Какъ можно! «Преданная старуха... меня вынянчила... Не могу не видаться съ родными... одно утѣшеніе!» О, эти бабы... бабы!..

Горяевъ быстро переодѣлся, надѣлъ шляпу и вышелъ въ переднюю.

— Подай шубу!—крикнулъ онъ лакею.

— Изволите вернуться къ обѣду?—почтительно спросилъ слуга.—Блины сегодня.

— Убирайся ты къ чорту со своими блинами! Нѣтъ, ни обѣдать, ни вечеромъ я не буду дома. Доложи Аннѣ Ивановнѣ, что я приѣду только завтра.

Послѣднія фразы Горяевъ нарочно сказалъ отчетливо и громко, желая, чтобы жена слышала ихъ.

II.

Осчитившись на улицѣ, Горяевъ рѣшительно не зналъ, куда ему дѣваться.

Фланировать по Невскому или по Набережной, заѣхать въ театръ и въ послѣдній разъ взглянуть на Цукки, отправиться въ ресторанъ, гдѣ, конечно, всегда найдется кружокъ друзей-сопутельниковъ, завернуть къ знакомымъ?.. Нѣтъ,

все это надоѣло до послѣдней крайности и было противно до невозможности!

Горяевъ вспомнилъ, что еще на-дняхъ, на какомъ-то веселомъ ужинѣ, длившемся до разсвѣта, онъ мысленно проклиналъ свое положеніе *семьянина*... Пріятели-холостяки *могли* располагать собою и на тройкахъ отправились за городъ, а онъ... онъ *долженъ* былъ вернуться домой, такъ какъ иначе послѣдовала бы бурная сцена...

И Горяевъ вернулся, но кислый, недовольный, и сцена все-таки произошла. Съ этого момента собственно и начался открытый разладъ, закончившійся сегодня обоюднымъ заявленіемъ, что такъ жить нельзя.

— Ну, и прекрасно, и чудесно, — говорилъ Горяевъ, шагая по панахи.—Давно пора покончить эту канитель. Надоѣло! Теперь я свободенъ... абсолютно свободенъ! Я сказалъ ей, что и не любилъ, и не люблю ее... Совершенно справедливо. Къ чему ломать камедію? Женились по расчету, думали что сживемся... Нѣтъ—и ненадо! Какъ это хорошо, однако, что мы объяснились на чистоту. Право, на душѣ стало легче... Уфъ! Отлично! И у меня чудесное расположеніе духа... Давно такого не бывало... давно! Мнѣ какъ-то особенно весело!

Горяевъ хотѣлъ насвистать слышанный вчера мотивъ изъ новой оперетки, и не могъ. Плотиѣ закутавшись въ шубу, онъ пошелъ скорѣе, и

вопросъ: куда отправиться — съ прежней назойливостью вставалъ передъ нимъ.

«Рано я выпелъ изъ дому собственно говоря, — подумалъ Горяевъ. Надо было послѣ обѣда... Но не могъ же я оставаться тамъ послѣ всего... Нянька — прислуга, и вдругъ смѣть... А какъ Вѣрочка заплакала!.. Что это... неужели я ей больно сдѣлалъ?»

Это воспоминаніе укололо Горяева. Онъ старался возстановить всю сцену съ ребенкомъ и пробовалъ на своей рукѣ, какъ онъ взялъ Вѣрочку за ея пухлую, маленькую ручку, какъ сжалъ ее.

«Неужели она заплакала отъ боли? Нѣтъ, нѣтъ, быть не можетъ!... Просто она избалованная, капризная... А если ей было больно?... Пустяки! Сколько разъ, играя съ нею, я сжималъ гораздо сильнѣе, и ничего... Мамаша изволила испортить ребенка своимъ неумѣньемъ воспитывать».

Но, не взирая на такой выводъ, Горяевъ ощущалъ какое-то сосущее, неприятное чувство, и ему дѣлалось не по себѣ, какъ это бываетъ съ сильными людьми, не во время показавшими свою силу.

Взглянувъ на часы, Горяевъ замѣтилъ, что еще пяти нѣтъ, и остановился въ нерѣшимости.

— А что, въ самомъ дѣлѣ, не поѣхать-ли къ матушкѣ? Старушка обрадуется, а мнѣ, кстати, все равно до вечера некуда дѣться...

Горяевъ кликнулъ извозчика и не торгуясь сѣлъ въ сани, приказавъ вести себя на Пески.

Алексѣю Николаевичу Горяеву давно уже перевалило за тридцать, а онъ все еще любилъ воображать себя юношей, только что вступившимъ въ свѣтъ. Ему нравилось играть роль богатаго человѣка, имѣющаго извѣстные вкусы, привычки и рабски исполнять завѣты привилегированнаго заведенія, въ которомъ онъ кончилъ курсъ, а потому остался «на ты» съ разными особами.

— Я не могу поступать такъ, какъ Ивановъ! Я не привыкъ... Я не такъ воспитанъ! — говорилъ Горяевъ медлительнымъ, нѣсколько тягучимъ голосомъ, дѣйствительно считая себя аристократомъ и богачемъ.

Онъ совершенно забывалъ, что поступилъ въ привилегированное заведеніе на казенный счетъ, благодаря заслугамъ отца, не оставившаго никакого состоянія; забывалъ, что старушка-мать *должна* вязать какіято кофточки и шапочки, чтобы содержать себя и полу-слѣпую дочь, такъ какъ пенсія вдовы была слишкомъ мала; забывалъ, что своимъ общественнымъ положеніемъ за послѣдніе шесть лѣтъ обязанъ выгодной женитьбѣ и добротѣ жены, не мѣшавшей ему гордиться при случаѣ:

«Мой домъ.... мой капиталъ.... Я рѣшилъ.... я не позволю».... и т. д.

Вскорѣ послѣ свадьбы, онъ такъ привыкъ рисоваться и задавать тонъ, что въ концѣ концовъ самъ повѣрилъ въ свою состоятельность и неприязненно морщился, когда няня или тетушка жены, упорно не признававшія его власти, говорили:

«*Барынинъ* домъ... *барынино* состояніе... какъ *онъ* прикажутъ» и т. д.

Сидя въ саняхъ и надвинувъ шапку на глаза, Горяевъ впервые за эти дни семейнаго разлада подумалъ о практической сторонѣ вопроса.

«Я сказалъ, что желаю разойтись... она согласилась. Прекрасно! Но какъ же на счетъ состоянія? Вѣдь у меня ничего нѣтъ... ничего... Грошевое жалованье въ ожиданіи будущаго назначенія... а жить-то надо... Не могу же я поселиться въ меблированной комнатѣ и бѣгать въ «нормальную» столовую... Ха, ха, это было-бы забавно! Горяевъ—въ «нормальной» столовой питается!... Однако, братъ содержаніе отъ нея—я тоже не могу! Быть обязаннымъ женщинѣ... Никогда!»

III.

Марія Петровна Горяева жила болѣе чѣмъ скромно, но, благодаря умѣнью и заботливости,

ея крошечная, плохо меблированная квартирка не производила подавляющаго впечатленія. Все было на своемъ мѣстѣ, все сверкало чистотою.

Горяева не ожидала приѣзда сына. Она сидѣла за столомъ, накрытомъ бѣлою скатертью и, вмѣстѣ съ дочерью, Наташей, обѣдала. Передъ ними стояла тарелка съ блинами, блюдечко со сметаной и, въ какой-то латочкѣ, что-то темное, неопредѣленнаго вида.

Алексѣй Николаевичъ поздоровался съ матерью и сестрой, отказался отъ блиновъ, которыми его настойчиво угощали, и закурилъ папиросу.

— Что это у васъ такое?—спросилъ онъ, указывая на латочку.

— Очень вкусная вещь, Алеша, попробуй. Рубленые грузди, поджаренные со сметаной. По моему, это вкуснѣе, чѣмъ игра.

Горяевъ поморщился. Подали чай и, пока Наташа хлопотала возлѣ самовара, мать сказала:

— Какая добрая твоя жена, Алеша! Знаешь, что я постыжусь, и сегодня прислала мнѣ цѣлую массу разныхъ разностей: и грибовъ сушеныхъ, и рыбы, и вареній всякихъ...

— Сегодня прислала? Вы говорите: *сегодня?*—съ удивленіемъ переспросилъ Горяевъ.

— Недавно только ушелъ человекъ... А что, Алеша?

— Ничего... такъ!... Въ чемъ-же тутъ доброта, мамаша! У насъ много... Изъ деревни прислали... Не купленное...

Горяевъ хотѣлъ обезцѣнить подарокъ жены, но его тронуло вниманіе, оказанное матери, тѣмъ болѣе теперь... Они ссорились между собою, враждовали, говорили другъ другу обидныя колкости, и, тѣмъ не менѣе, Анна сумѣла не переносить свою досаду на мать мужа. Это было вполнѣ естественно, но... все естественное такъ рѣдко встрѣчается въ наше время.

— Да, вотъ и подумаешь, — говорила старушка, сидя возлѣ сына, — какъ судьба-то складывается. Ты женился не по любви, а скорѣе по расчету, и помнишь, какъ я горевала. Такіе браки рѣдко бываютъ счастливы, а вы живете, слава Богу, чудесно. Очень она хорошая, твоя Анна. Сердечная, простая, любящая... И дѣти у васъ славныя... Анна — рѣдкая жена... рѣдкая мать...

Горяевъ молчалъ, соображая: рассказать матери исторію своего разлада, или нѣтъ? Но Марія Петровна даже не подозрѣвала, какія тучи собрались надъ головою ея сына, и со старческою болтливостью продолжала:

— Я часто сравниваю вашу жизнь со своей, и знаешь, Алеша, если-бы твой покойный отецъ обращался со мною такъ, какъ ты съ Анной, я бы не могла... ну, совсѣмъ не могла-бы его любить...

— Да что-же я такое дѣлаю?

— Ты не знаешь? Ахъ, Алеша, тебя никогда дома нѣтъ, ни къ обѣду, ни къ чаю... Уйдешь утромъ, и до слѣдующаго утра. А если дома —

то не въ духѣ, на всѣхъ кричишь, сердисься... Вѣдь тебя даже дѣти боятся!

Послѣднія слова старушка произнесла понижая голосъ. Горяеву стало невыразимо тяжело и досадно, такъ какъ онъ не могъ не сознавать справедливости рѣчей матери.

— Это вамъ вѣроятно *она* нажаловалась? Заступничества просила? — насмѣшливо спросилъ онъ и протянулъ руку за шляпой.

— Она станетъ жаловаться?! Полно, Алеша, не грѣши на нее! Сердись на меня или не сердись, а вотъ теперь великій прощенный день, и я скажу: ты не умѣешь цѣнить свою жену... ты души ея не далъ себѣ труда понять. Живете вы вмѣстѣ будто дружно съ виду, но мнѣ кажется, что Анна страдаетъ...

— Съ чего вы это взяли, мамаша... Рѣшительно не понимаю!

— А я все вижу, Алеша... По моему, ты... ты слишкомъ натянулъ струну... да... Смотри, милый, лопнетъ она... и тогда конецъ всему...

Горяевъ недружелюбно простился съ матерью и мысленно пожалѣлъ, что заѣхалъ къ ней. Ему хотѣлось отдыха и забвенія, а она стала читать ему наставленія. Очень нужно! Жизнь и такъ не весела, а тутъ еще новыя неприятности.

IV.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ ресторана собралась шумная компанія дамъ и мужчинъ. Горяевъ, его товарищи, пріятели и пріятельницы его товарищей, случайные знакомые, вся эта пестрая группа, рѣшившаяся веселиться во что-бы то ни стало, придумывала различныя экстравагантности, оправдывая себя избитой фразой:

— Вѣдь это послѣдній день, господа! Надо его такъ провести, чтобы было чѣмъ вспомнить!

Притупленный вкусъ лакомыхъ и обжоръ не находилъ ничего пріятнаго ни въ устрицахъ, ни въ шампанскомъ, ни въ ликерахъ. Все браковалось, надо всѣмъ острили ии здѣвались, щеголяя тонкостью пониманія, хотя въ сущности это было только полнымъ пресыщеніемъ. Хотѣлось чегонибудь особеннаго, и не прекраснаго, а именно оригинальнаго, остраго, способнаго вновь взвинтить нервную систему.

— Господа, знаете что, поѣдемте на чухонцахъ!—предложилъ кто-то.

— Фи, Ивановъ, неужели вы ничего умнѣе не можете выдумать! Мы—не дѣти...

«*Она*, моя дѣточка, просилась прокатиться на чухонцѣ, а я... я отнесся такъ грубо!» вдругъ вспомнилось Горяеву, и ему стало и больно, и досадно.

Пестрая компанія продолжала шумѣть и болтать. Дѣлались разныя предложенія, составлялись всевозможные планы, но постоянно встрѣчался чейнибудь протестъ, и никакого рѣшенія не принимали.

Время шло. Возбужденное состояніе смѣнялось тупымъ неудовольствіемъ, почти хандрой. Нужно было или расходиться, или начинать кутежъ снова. Въ дунѣ Горяева росло и ширилось захватывающее чувство тоски и еще безсознательное, но горькое ощущеніе неудовлетворенности самимъ собою.

Передъ его умственнымъ взоромъ вырисовывалось поблѣднѣвшее, искаженное нравственнымъ страданіемъ лицо жены, и среди гула нестройныхъ голосовъ отчетливо слышалось восклицаніе ошеломленной его рѣзкими словами женщины:

«Никогда не любилъ?! Никогда?! Женился *такъ!* И дѣтей не любилъ!!»

— Какъ я безсовѣстно... безсердечно поступилъ! Ну, да, положимъ, женился по расчету, но потомъ полюбилъ... И нельзя было не полюбить... нельзя! Вѣдь были-же у насъ чудесныя, свѣтлыя недѣли... были... А я... я все у нея отнял. Сказалъ: *никогда не любилъ!* Хуже *этой* обиды для женщины не придумаешь... Эхъ!...

Но Алексѣй Николаевичъ пересилилъ доброе чувство и, какъ это часто бываетъ, изъ одной крайности бросился въ другую. Онъ обратился къ обществу съ предложеніемъ, какъ провести

остатокъ вечера. Всѣ одобрили его планъ и начали рукоплескать и хвалить его находчивость.

— Вотъ и отлично! Возьмемъ тройки, станемъ сами править... Быстрое движеніе — прелесть! Надо только захватить съ собою провіанта.

— А если мы кого-нибудь задавимъ?

— Сильное ощущеніе! Ха! ха! Не подвертывайся! У каждаго должны быть глаза!...

V.

Тройки бѣшено мчались вдоль Каменноостровскаго проспекта, и колокольчики заливались безпрерывною дробью. Дамы хохотали, мужчины напѣвали куплеты и любезничали. Всѣ старались показывать, что имъ весело, и только Горяевъ, давая обильную пищу для насмѣшекъ, сидѣлъ угрюмо, прижавшись въ углу саней.

Онъ не отвѣчалъ на вопросы и не говорилъ ни съ кѣмъ. Въ душѣ его происходилъ переворотъ, и ему страстно хотѣлось остаться одному, но... не хватало мужества проститься съ компаніей остряковъ, не пощадившихъ-бы его за такую измѣну.

А тройки все мчались. Гостепріимные уголки, пріютъ кутиль, остались назади, и кучера-дил-

летанты, гикая и ловко подобравъ возжи, свернули на Ланское шоссе, направляясь къ Парголову.

«Неужели-же у насъ все, все кончено? — думалъ Горяевъ, прислушиваясь къ мелодичнымъ переливамъ колокольчика. — Если двое ссорятся — оба виноваты... Но у насъ... нѣтъ, я виноватъ... я... Хотя, конечно, нѣтъ дѣйствія безъ причины... Ахъ, еслибы можно было начать все съизнова... Я обидѣлъ Анну... я былъ грубъ... неблагогороденъ... А Вѣруня... Какъ она взглянула на меня, бѣдняжечка... Я ей сдѣлалъ больно... я... ребенка обидѣлъ!...»

Какой-то странный, дрожащій звукъ пронесся въ воздухѣ... Еще... и еще... Горяевъ взглянулъ на спутниковъ. Никто ничего не замѣчалъ, или не хотѣлъ замѣтить.

— Благовѣсть! Къ заутренѣ! — вырвалось у Горяева.

Компанія продолжала шутить. Начались рассказы «кстати», сопоставленія и даже дикое предложеніе — остановиться и, ради оригинальности, всей компаніей зайти въ церковь.

Въ душѣ Алексѣя Николаевича проснулось съ дѣтства привитое, но въ послѣдствіи задавленное критикой разума чувство релігіознаго настроенія, и онъ крикнулъ грубо и рѣзко, какъ человѣкъ защищающій нѣчто лично дорогое.

— Нельзя этого! Я не позволю! Я... я уйду...

Послышались насмѣшки: «Донъ - Кихотъ!» «Ханжа!» «Какъ онъ смѣетъ!» Но Горяевъ уже не обращалъ на нихъ никакого вниманія. Онъ на ходу выпрыгнулъ изъ саней и, махнувъ рукой въ отвѣтъ на вопросы и уговоры, скрылся съ глазъ веселой компаніи.

Съ робкимъ, благоговѣйнымъ ощущеніемъ вошелъ онъ въ Новосильцевскую церковь и, забравшись въ самый дальній, темный уголокъ, опустился на колѣни. Ему хотѣлось молиться, хотѣлось излить наболѣвшее и накипѣвшее за годы отчужденія горе, хотѣлось почерпнуть новыя силы.

Тихое сіянье лампадъ передъ образами, рядъ трудовыхъ свѣчей и склоненныя фигуры молящихся — все навѣвало отраду, успокоеніе. Съ жаднымъ вниманіемъ слушалъ Горяевъ слова молитвы, и словно вешнее солнце согрѣвало его душу.

Припавъ лицомъ къ холоднымъ плитамъ, Алексѣй Николаевичъ плакалъ тихими, умиленными слезами. Онъ опять нашелъ Бога, онъ опять воскресилъ угасшую вѣру и какъ-бы видѣлъ чудо въ томъ обновленномъ состояніи, которое испытывалъ всѣми фибрами своего существа.

.....
 Анна Ивановна еще не спала, когда мужъ вернулся домой.

Она сидѣла у стола и со слезами на глазахъ перебирала его письма, писанныя къ ней годъ

тому назадъ; когда онъ уѣзжалъ въ командировку.

«Тамъ было такъ много нѣжности и ласки... столько заботы и тревоги за меня и за дѣтей... Онъ такъ скучалъ безъ семьи... И это все была, значитъ, ложь... ложь!»... съ отчаяньемъ думала бѣдная женщина, чувствуя себя опозоренной и жестоко оскорбленной. «Никогда не любилъ! И когда Вѣра родилась — тоже не любилъ? Нѣтъ, нѣтъ, любилъ тогда!... Вѣдь самъ говорилъ... лелѣялъ... Неужели и тогда лгалъ?»

— Анюта... милая... милая Анюта! — раздался сзади нея голосъ мужа, и она обернулась, трепеща всемъ тѣломъ. — Прости меня... О, какъ я виноватъ передъ тобою...

Она не смѣла вымолвить ни слова, но глаза ея были такъ краснорѣчивы.

— Да, я покаюсь... я скажу всю правду... Знай... Женился не любя, а потомъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ сталъ любить и уважать все больше... Чувствовалъ, что не стою тебя, и избѣгалъ быть дома... Въ средѣ такихъ-же безпутниковъ, мнѣ было легче, чѣмъ возлѣ тебя, чистой и правдивой. Но сегодня... сегодня, Анюта, я все понялъ... Скажи, вѣришь ты мнѣ, или нѣтъ? Вѣришь-ли, что прощенный день сталъ для меня днемъ возрожденія? Вѣришь-ли, что я люблю тебя, и дѣтей, и семью?...

Она повѣрила. Ея сердце переполнилось радостью, и крѣпко, любовно прижалась она къ

груди мужа, забывая все минувшее и свято надеясь на будущее...

Съ этого дня Горяевы узнали настоящее счастье, и ни единое облачко не туманитъ ихъ горизонта.



ЗВѢЗДОЧКА.

(Старая сказка).



Открытие неожиданное!
Сказано слово—и все объяснилось!
Некрасовъ.

I.

У нея были чудные, свѣтлые какъ мечта, и глубокіе какъ море глаза, и онъ, старый безумецъ, полюбилъ ее какъ звѣздочку, какъ свое единственное дитяtko.

Онъ такъ и звалъ ее «звѣздочкою», а она, шалунья, смѣялась и нѣжилась подъ его ласкающимъ взоромъ, понимая, что въ ней одной сосредоточенъ для него весь міръ.

Одинокій старикъ, пережившій всѣ радости, и поставившій крестъ надъ прошлымъ, вдругъ почувялъ въ себѣ новыя силы. Онъ помолодѣлъ и оживился; онъ чувствовалъ, какъ бьется его сердце, какъ загораются потухшіе глаза, какъ бодро звучитъ его печальный голосъ.

Никакихъ мечтаній, никакихъ надеждъ не лѣялъ Невѣковъ.

Если бы онъ замѣтилъ, что звѣздочка угадала его любовь, — онъ оставилъ бы свою квартиру, Петербургъ, даже Россію, и уѣхалъ бы на край

свѣта, только бы не разбили безжалостные люди его дорогое, свѣтлое чувство.

Въ прошломъ Невѣкова было много горя, и теперь, когда въ его темныхъ волосахъ серебрилась сѣдина, только теперь понялъ онъ, въ чемъ таилась причина его несчастья.

Онъ вѣрилъ въ любовь...

Это была ошибка, грубая и смѣшная.

Теперь онъ ни въ кого не повѣритъ, и его никто, никто не обманетъ, никто не будетъ вправѣ издѣваться надъ нимъ.

— Дядя Витя, пора обѣдать, мама ждетъ! раздается за дверью молодой, свѣжій голосъ звѣздочки-Мани, и вся сіяющая, розовая, она показывается на порогѣ.

Невѣковъ бросаетъ свои книги и рукописи (онъ немножко писатель, немножко ученый) и стремительно встаетъ изъ за стола.

— Обѣдать? Ахъ, какъ это хорошо! говорить онъ.—Я голоденъ! Я ужасно голоденъ! Подождите меня, звѣздочка. Я сейчасъ... сейчасъ... Мы пойдемъ вмѣстѣ: мнѣ вотъ только книги надо собрать.

Но Невѣковъ не голоденъ, и книгъ ему собирать не надо. Ему просто дорого побыть вмѣстѣ съ Маней нѣсколько мгновений, а потомъ слушать, какъ она звонко смѣется надъ его голодомъ, надъ неловкостью и медлительностью, съ которыми онъ укладываетъ свои книги.

— Скорѣе, дядя Витя! Скорѣе! торопится его Маня, и сама начинаетъ помогать ему, рассказывая, что сегодня было въ конторѣ, гдѣ она работаетъ, съ кѣмъ она видѣлась, что тамъ новаго.

Невѣковъ носилъ названіе «дяди Вити» совершенно случайно. Нѣсколько лѣтъ назадъ онъ перенесъ серьезную катастрофу, и оставшись одинокимъ, поселился въ квартирѣ матери Мани, какъ единственный жилецъ.

Мало-по-малу Анна Васильевна такъ привыкла къ Невѣкову и на столько сжилась съ нимъ, что одинокій старикъ почувствовалъ себя членомъ семьи, и радовался, когда Маня называла его дядею Витею, когда она, ребенкомъ, потомъ дѣвочкою-подросткомъ, обращалась къ его помощи, прося объяснить урокъ или написать сочиненіе.

Пожилой человекъ (старикъ, какъ онъ самъ называлъ себя) съ усердіемъ влюбленнаго гимназиста начиналъ сочинять на заданную тему, и былъ счастливъ какъ ребенокъ, если Манѣ ставили пятерку.

Какъ-то разъ Невѣковъ подвелъ свою «звѣздочку». Онъ написалъ слишкомъ серьезное и красивое сочиненіе, подъ названіемъ «восходъ солнца на морѣ», и звѣздочку заподозрили въ плагиатѣ.

«Старый дуракъ! негодовалъ на себя Невѣковъ.—Даже сочиненія гимназическаго не могъ написать какъ слѣдуетъ! Звѣздочка плачетъ! Звѣздочкѣ поставили единицу!»

Изъ такихъ мелочныхъ, искреннихъ и сердечныхъ горестей слагалась жизнь Невѣкова. Если онъ узнавалъ, что Анна Васильевна нужны деньги, чтобы «обернуться», — то сейчасъ же, подѣ самымъ благовиднымъ предлогомъ, давалъ ей извѣстную сумму, говоря, что ему «удобнѣе» заплатить за квартиру и столѣ впередъ за нѣсколько мѣсяцевъ; если Анна Васильевна или Маня хворали, онъ дѣлался сидѣлкою; если онѣ уѣзжали въ гости, онъ оставался сторожемъ; словомъ, потребность любви сказывалась въ стремленіи заботиться о близкихъ людяхъ и сознавать, что облегчаешь ихъ существованіе.

II.

Не взирая на большую разницу лѣтъ, Маня не скучала съ дядею Витею и охотно забѣгала въ его комнату, то совершая возмутительный беспорядокъ на его столѣ, то прибирая все, какъ домовитая мать семейства.

Люби Маня еще не вѣдала, но въ ея юной душѣ уже просыпались запросы личнаго счастья, и она пытливо глядѣла на молодыхъ людей, слово спрашивая: кто изъ нихъ заставитъ забиться ея сердце.

А пока, наивная и чистая какъ ребенокъ, выросшій подѣ крыломъ матери, она давала названіе «любимаго» и кушанью, и платью, и даже мопсику, Чарльзу.

— Ахъ, какъ вы долго возитесь съ этими книгами! воскликнула Маня, плутовски смотря на Невѣкова. — Конечно, кажется? Да?

— Да, да, звѣздочка... Идите.

— Нѣтъ, постойте... Я хочу спросить васъ объ одномъ важномъ, преважномъ дѣлѣ.

— Спросите, звѣздочка.

— И вы скажете мнѣ все? Вы не станете обманывать, я знаю, но... вы не будете... уклоняться?

— Нѣтъ, звѣздочка, я вамъ все скажу! такимъ тономъ вымолвилъ Невѣковъ, что даже заклятый врагъ повѣрилъ бы въ его правдивость.

— Ну, хорошо! Смотрите же!

— Смотрю, звѣздочка, и открываю вамъ свою душу...

— Вы... вы... любите меня?

— Люблю, звѣздочка!

— Нѣтъ, не такъ! возразила Маня, сдѣлавъ гримаску. — Я хочу знать, серьезно-ли вы меня любите! Ахъ, какой непонятливый... Ну, однимъ словомъ: влюблены-ли вы въ меня?

Невѣковъ поблѣднѣлъ.

Маня коснулась самой завѣтной тайны его души, самаго мучительнаго вопроса.

— Зачѣмъ вамъ это знать, зачѣмъ! съ болью вырвалось у него. — Не спрашивайте!

Маня покраснѣла, потупидась, и едва слышно прошептала:

— Я—правдивѣ васъ! Вы уклоняетесь, а я... я скажу... Я люблю васъ!

— Маня! Такъ шутить—безбожно! Никогда, слышите, никогда не смѣйте...

— Я люблю васъ! смѣло, почти дерзко вымолвила дѣвушка, и пошла къ дверямъ.

Невѣковъ схватилъ ее за руку и удержалъ.

— Не надо, Маня! Не надо, звѣздочка моя ясная, твердилъ онъ внѣ себя отъ ужаса и восторга.— Не надо! Не хочу я никакого измѣненія. Вы—моя звѣздочка, моя ясочка, мое дитятко. Любовь, это—горе; любовь, это—разочарованіе. Я не возьму отъ васъ самой ничтожной ласки. Слова нѣжнаго не хочу услышать. И что вы говорите, моя звѣздочка! Вѣдь мнѣ подъ 50 лѣтъ, а вамъ... есть-ли вамъ 18! Уваженіе, симпатію, она назвала любовью! О, дѣточка, чистая, свѣтлая, дорогая дѣточка!

Невѣковъ со слезами глядѣлъ въ восторженное лицо Мани, и то отказывался отъ ея любви, говоря, что боится чувства, то напоминалъ о своемъ возрастѣ, о сѣдыхъ волосахъ, о громадной разницѣ, существующей между ними.

— Я люблю васъ... люблю... люблю! съ возрастающею досадою повторила Маня, и, не ожидая отвѣта, ушла изъ комнаты дяди Вити.

Онъ остался одинъ, ошеломленный и подавленный.

III.

«**Д**а что же это, что? спрашивалъ онъ себя, не имѣя силъ разсуждать спокойно.— Любить? Она полюбила, и кого же, меня, ничтожнаго, избитаго жизнью! За что полюбила? Та оттолкнула, ушла съ другимъ, а эта, чистая, свѣтлая, мнѣ отдаетъ свое первое чувство! О, моя звѣздочка! Я хотѣлъ бы имѣть двѣ жизни, и послѣдовательно, одну за другою, отдать ихъ тебѣ, моя желанная. Но я не возьму твоей любви, нѣтъ, нѣтъ, не возьму! Вѣдь счастье, это—миѣ. Первый поцѣлуй, и оно исчезло. вмѣсто поэзіи начнется проза, и знакомая, мучительная горечь будетъ отравлять существованіе. Нѣтъ, я откажусь, я буду другомъ, братомъ, отцомъ, только не мужемъ».

Невѣковъ прислушивался, ожидая, что Анна Васильевна, Маня или служанка придутъ позвать его обѣдать, но объ немъ совершенно забыли.

Отправиться въ столовую безъ зова онъ не рѣшался, смущаясь, какъ юноша, при мысли, что долженъ встрѣтиться съ Манею.

Какъ она посмотритъ на него? Что скажетъ? Можетъ быть ея милое личико омрачено, глаза заплаканы?

Невѣковъ боялся за себя.

По разуму онъ долженъ оставаться стойкимъ, но гдѣ же, гдѣ силы, чтобы отказаться отъ такого чистаго, могучаго чувства, когда звѣздочка, недосыгаемая, яркая звѣздочка, сама вымолвила слово: «люблю»?!

Анна Васильевна заглянула въ комнату Невѣкова, и подробно, слишкомъ подробно и обстоятельно рассказала жильцу, почему такъ опоздалъ обѣдъ.

Невѣковъ слушалъ ея объясненія, но не придавалъ имъ значенія. Его интересовалъ вопросъ: знаетъ она то, что случилось, или не знаетъ?

— Пойдемте кушать, Павелъ Ивановичъ, наконецъ сказала она.—Пора! Маня у насъ что-то не въ духѣ сегодня. Плачетъ. И обѣдать не хочетъ...

— Не... нездорова? черезъ силу спросилъ Невѣковъ, чувствуя себя безмѣрно виноватымъ передъ милою звѣздочкою.

— Не говорить. «Оставьте меня», только и сказала.

Обѣдъ прошелъ очень печально. Невѣковъ ничего не ѣлъ и все поглядывалъ на двери, ожидая появленія Мани. Его надежды оправдались.

Звѣздочка вошла въ столовую, блѣдная, съ опухшими отъ слезъ глазами, и не глядя ни на мать, ни на Невѣкова, помѣстилась въ уголѣ.

Неловкое молчаніе, видимо, тяготило Анну Васильевну, и она старалась завести разговоръ съ Невѣковымъ или Манею.

Ей отвѣчали отрывисто, неохотно, какъ бы удивляясь: зачѣмъ она спрашиваетъ о такихъ пустякахъ, ни для кого ненужныхъ и не интересныхъ.

Между прочимъ, Анна Васильевна сообщила случай, вычитанный въ газетахъ. Какая-то дѣвушка уточилась, оставивъ записку, что умираетъ отъ тоски. Старушка заключила рассказъ суровымъ порицаніемъ, но Маня вступилась.

— Ахъ, мама, развѣ можно такъ осуждать! Надо знать какія причины... Можетъ быть ей нельзя было жить, совсѣмъ нельзя!

— Да вѣдь грѣхъ-то какой, Манюшка!

— Грѣхъ? Да, конечно. Но не она виновата, а тотъ, кто толкнулъ...

— Да развѣ ты знаешь?

— Я знаю, пылко прервала дѣвушка,—такой случай. Одинъ человѣкъ... онъ жилъ богато, роскошно, его всѣ уважали, почитали, считали честнымъ. Но вотъ разъ онъ явился къ своему другу, и сказалъ ему: у меня нѣтъ ни средствъ, ни надеждъ; все это только обманъ. Помогите мнѣ, спаси. Я растратилъ чужія деньги; я воръ, но ты можешь спасти меня!

Маня тяжело перевела дыханіе. Невѣковъ глядѣлъ на нее, понимая, что эта исторія раз-

сказывается специально для него, но пока еще не могъ уловить ея тайнаго смысла.

— И вотъ, продолжала Маня, — выслушавъ самыя горькія признанія несчастнаго человѣка, этотъ другъ, онъ оттолкнулъ его... Онъ отказался помочь!... Вы понимаете, съ выраженіемъ глухой скорби заключила она, — что обнаружить свою душевную нищету и не встрѣтить сочувствія, это такая мука... такая... Ему стало такъ стыдно, что у него не хватало мужества жить...

— Но нельзя такъ разсуждать, возразилъ Невѣковъ. — Можетъ быть, ему душевно хотѣли помочь... Можетъ быть, отказывая въ помощи, человѣкъ страдалъ больше, чѣмъ тотъ, просившій... Можетъ быть...

— Да, я не сомнѣваюсь, этотъ практичный человѣкъ нашелъ много резоновъ, но тотъ, кого оттолкнули... Ему не легче!

— Не понимаю я тебя, Маня, вмѣшалась старушка, дѣйствительно не понимавшая намековъ, которыми обмѣнивались Невѣковъ и Звѣздочка. — Ну, не было у человѣка денегъ, вотъ и отказалъ... Дѣло житейское!

— Въ томъ-то и ужасъ, мама, что у него не нашлось денегъ, чтобы спасти друга! На что иное найдется!... Онъ бросить эти деньги такимъ людямъ, которые не оцѣнятъ, не поймутъ его дара...

Невѣковъ краснѣлъ и блѣднѣлъ, внимая словамъ Звѣздочки. Онъ понималъ ея намеки, и страдалъ отъ невозможности сказать ей:

«Не обвиняй, дорогая, желанная... Тотъ, кого ты порицаешь, все, все готовъ отдать тебѣ, но онъ опытенъ, и потому боится ошибки... То, что для тебя забава, для него — вопросъ жизни! Не дразни его несбыточнымъ счастьемъ. Повѣрить въ возможность твоей любви и слишкомъ хорошо, и слишкомъ страшно!»

IV.

И все-таки Невѣковъ повѣрилъ...

Молодая, кипучая, полная жизни натура Мани побѣдила всѣ страхи Павла Ивановича.

Онъ далъ волю своему чувству, и никогда еще не любилъ онъ такъ полно, съ такимъ увлеченіемъ, съ такою безграничною вѣрою, какъ теперь.

Звѣздочка сама призналась... Звѣздочка сама полюбила его... Звѣздочка сама повела его къ мамѣ и сказала: «я люблю его... мы — женихъ и невѣста!»

А потомъ все пошло какъ слѣдуетъ.

Свадьба была назначена черезъ мѣсяць, и Невѣковъ, не считая, давалъ деньги Аннѣ Василь-

евнѣ, прося ее дѣлать приданое по вкусу Звѣздочки, ни въ чемъ не отказывая его любимицѣ, предугадывая ея желанія.

— Денегъ хватить, говорилъ онъ, широко улыбаясь. — Послѣднія десять лѣтъ я не бралъ даже процентовъ. Я жилъ на литературный заработокъ.

Звѣздочка-Маня была какъ-то шумно, вызывающе счастлива. Возвращаясь отъ знакомыхъ, она съ оживленіемъ побѣдительно разсказывала, какъ завидуютъ ей всѣ пріятельницы, какъ ухаживаютъ за нею, какъ льстятъ молодыя дамы, знающія, что она будетъ жить открыто и давать вечера.

Поэтическая подкладка ихъ любви какъ бы исчезала, смѣняясь чѣмъ-то дѣловымъ, практичнымъ.

Приходилось толковать объ отдѣлкѣ квартиры, о наймѣ дачи, объ экипажахъ и лошадяхъ, а о томъ, что переполняло душу счастливаго жениха, говорить было какъ-то неловко...

Да и зачѣмъ слова... зачѣмъ звуки, когда въ безмолвномъ взорѣ, въ пожатіи руки, въ улыбкѣ заключается цѣлая гамма ощущеній, доставляющихъ жгучее блаженство?

Звѣздочка любила Невѣкова... любила!

Развѣ она не совершила подвига, развѣ не доказала своего чувства, сама, первая, вымолвивъ слова признанія?

Если ей не вѣрить, то вѣдь и жить нельзя!

Наканунѣ свадьбы, Невѣковъ долженъ былъ сдѣлать много визитовъ, покупокъ, и т. д. Онъ рано ушелъ изъ дома и вернулся въ сумерки, усталый и продрогшій.

Боясь взволновать Звѣздочку, онъ прошелъ къ себѣ, закутался въ пледъ и легъ на диванъ.

Онъ мечталъ о завтрашнемъ днѣ, и опять въ душѣ его просыпались прежніе страхи, вставали: мучительное недовѣріе къ себѣ и ужасъ передъ неизбѣжностью разочарованія.

За стѣною кто-то разговаривалъ.

Невѣковъ машинально вслушивался, не придавая никакого значенія своему поступку.

— Нѣтъ, я не одобряю, степенно и внушительно раздавался голосъ Анны Васильевны. — Не любишь, такъ не для чего и замужъ выходить. Тутъ счастья не будетъ.

— Ахъ, мама, ты ничего не понимаешь! Не оставайся же мнѣ старою дѣвою! Счастья не будетъ, говоришь? Точно у кого-нибудь оно бываетъ на долго? Ну, годъ поживемъ, а тамъ... Можно разойтись.

Невѣковъ вскочилъ съ дивана.

Что это, сонъ, кошмаръ, или онъ сходить съ ума?

Звѣздочка, дорогая, свѣтлая Звѣздочка можетъ разсуждать такимъ образомъ?!

Нѣтъ, онъ ослышался.

Звѣздочка дѣйствительно сидитъ и бесѣдуетъ съ матерью. Весьма возможно, что онѣ разсуж-

даютъ о чемъ либо практичномъ, но только не о томъ, что ему прислышалось,—нѣтъ, нѣтъ, не о томъ.

Потребность успокоенія страшно сильна. Невѣковъ подходитъ къ дверямъ, и, сознательно, уже не стыдясь своего поступка, начинаетъ подслушивать.

Разговоръ между матерью и дочерью продолжался.

— Конечно, Бойцевъ прелесть! говорила Мани, очевидно отвѣчая на вопросъ матери.—Но ты вѣдь знаешь, мама, у него ничего нѣтъ за душою. Нуждаться мнѣ и такъ надоѣло.

— А онъ тебѣ признавался въ любви?

— Ахъ, еще бы! Онъ страстно влюбленъ! И какой онъ умница, мама! Будетъ ждать... И въ самомъ дѣлѣ: жениться на мнѣ ему нельзя, и вотъ мы рѣшили, что будемъ ждать.

Невѣковъ, шатаясь, отошелъ отъ дивана.

«Они рѣшили ждать. Чего ждать, чего? Его смерти, или еще ужаснѣе: разлуки съ нимъ? Первая ссора, крупная размолвка, и она, Звѣздочка, уйдетъ отъ него къ Бойцеву. И оскорбляться нельзя, и негодовать нѣтъ права! Они поступаютъ разумно, логично, и до жестокости практично. Но зачѣмъ же она, Звѣздочка, зачѣмъ она говорила ему, отжившему старику, о своей любви? Зачѣмъ пробудила она его къ новой жизни, зачѣмъ дала право мечтать? Нѣтъ, она не виновата, нѣсколько минутъ спустя, рѣшаль

Невѣковъ.—Я былъ безумцемъ, повѣривъ въ ея чувство. Я забылъ, что теперь лгутъ всѣ, даже дѣти, даже чистыя, наивныя дѣвушки! Мани понимала, что у меня не хватило бы мужества сказать ей о своей любви, но я представлялся для нея выгодною партіею—и она сама... сама рискнула... Бѣдная, бѣдная Звѣздочка! Какъ же ей хочется счастья съ Бойцевымъ, какъ страшно безцвѣтна ея жизнь, если она рѣшилась на такой поступокъ! Чтобы обезпечить свое счастье съ другимъ, она мнѣ отдавала свою первую любовь!.. О, какой ужасъ!.. Прежде подобные браки устраивали деспоты-родители, теперь... молодыя дѣвушки находятъ ихъ вполне естественными! И зачѣмъ только отняла она у меня право безмолвно любить ее, зачѣмъ вымолвила она это жестокое слово «люблю», въ сущности всегда убивающее или извращающее истинное чувство?!»

Невѣковъ положилъ въ конвертъ десять тысячъ, приготовленныхъ на свадебное путешествіе, и написалъ на имя Мани маленькую записку.

«Будьте счастливы съ Бойцевымъ, дорогая, свѣтлая Звѣздочка. Прощайте! Я хочу унести неомраченную память о моей послѣдней горькой любви»...

Въ тотъ же вечеръ, не прощаясь, Невѣковъ уѣхалъ изъ Петербурга.

Теперь онъ скитается по Европѣ, всюду ская отъ одиночества, и страшно боясь новой привязанности.

Память о Звѣздочкѣ живетъ въ его сердцѣ, и если онъ упрекаетъ ее иногда, то не за обманъ... Нѣтъ, ему до слезъ жаль своей свѣтлой и чистой любви, жаль, что у него отняли вѣру и мечту, красившія его одинокое существованіе.

Маня сдѣлалась женою Бойцева.

По временамъ, когда они ссорятся, Маня говоритъ мужу:

— Ты забываешь, какую я тебѣ жертву принесла! Я могла быть женою богача!

И Бойцевъ не возражаетъ...

А бѣдный старикъ, такъ неумѣло помѣстившій свою послѣднюю привязанность, думаетъ, что Звѣздочка счастлива...

Онъ по прежнему любитъ ея чудные, свѣтлые какъ мечта, и глубокіе какъ море, глаза, и по прежнему называетъ своей Звѣздочкою, но ему горько за пережитое разочарованіе.

СООБЩНИКЪ.

(Эскизъ.)



I.

Дарьяновъ окончилъ защитительную рѣчь и залпомъ выпилъ стаканъ воды. Онъ былъ взволнованъ, потрясенъ, но въ то-же время страстно желалъ знать, какое впечатлѣніе произвела его рѣчь на присяжныхъ и на товарищей, тѣснившихся въ узкомъ закуткѣ, предоставленномъ для адвокатовъ.

Пока Дарьяновъ горячо и убѣжденно высказывалъ свои доводы, пока онъ черпалъ изъ обыденной жизни аналогическіе факты и доказывалъ, что подсудимый Петровъ не злодѣй и не преступникъ, а жертва несчастливо сложившихся обстоятельствъ, пока онъ предостерегалъ представителей общественной совѣсти отъ самой ужасной изъ ошибокъ—обвиненія невиннаго, между нимъ и старшиною присяжныхъ устанавливалось взаимное пониманіе, близкое къ сочувствію.

Суровое, старчески-строгое лицо старшины, какъ то оживилось и онъ кивалъ головою, какъ бы

выражая, что слова защитника находятъ откликъ въ его душѣ. Это ободряло Дарьянова, внушало надежду спасти несчастнаго парня, въ невинность котораго онъ глубоко вѣрилъ. Окончивъ рѣчь, Дарьяновъ вдругъ вспомнилъ, что онъ сказалъ далеко не все необходимое. Онъ недостаточно разобралъ улики, онъ забылъ тирады изъ Миттермаера и Буцковскаго, которыми намѣревался щегольнуть, и слишкомъ увлекся душевною стороною.

Подсудимыхъ было двое. Вслѣдъ за Дарьяновымъ приходилось говорить Малинину, но въ качествѣ любимца предсѣдателя, онъ попросилъ перерыва. Предсѣдатель согласился. Всѣ шумно направились къ дверямъ и Дарьяновъ, обгоняя товарищей, вышелъ изъ залы

Молодаго адвоката обступили друзья и знакомые. Одни неискренно хвалили, другіе искренно завидовали и, подъ личиною пріязни, отмѣчали ошибки, придавая имъ серьезное значеніе.

Дарьяновъ растерялся. Онъ ждалъ основательнаго разбора и болѣе сердечнаго отношенія. Это было первое крупное дѣло, выпавшее на его долю. Въ качествѣ юнаго юриста и новенькаго адвоката, онъ считалъ этотъ процессъ чуть-ли не за cause celebre и негодовалъ на отсутствіе представителей прессы, на легкомысленныя фразы товарищей.

— Закатаютъ! — зѣвая говорилъ толстякъ-адвокатъ. — Знаете, Алексѣй Николаевичъ, вы напрасно о снисхожденіи не упомянули.

— О снисхожденіи! Человѣкъ вовсе не виновать! Это манера нашихъ прокуроровъ тащить всякаго. Тамъ, дескать, разберуть.

— И вы вѣрите въ невинность Петрова?— спрашивалъ одинъ изъ товарищей. — У вашего кліента такая скверная морда...

— Я и не защищалъ его красоту. Онъ не сдѣлалъ преступленія, это — фактъ.

— Ну, мой-то навѣрно попользовался,—вступился Малининъ. — Конечно, я постараюсь... Хотя, признаться, такъ горячо, какъ вы, защищать не стану. Въ подобныя случаяхъ я говорю, что называется, не во всю.

— О, вашъ Петровъ негодяй! Сейчасъ видно, что грабитель... На одни глаза обратите вниманіе. Вы идеалистъ, оттого и увлекаетесь.

— Нельзя же такихъ мерзавцевъ оправдывать. Вы горячитесь потому, что вы молоды.

Сначала Дарьяновъ спорилъ и доказывалъ, ссылаясь на улики, на alibi, никѣмъ не опровергнутое; указывалъ на знаменитые процессы Европы, въ которыхъ невинность человѣка, обвиненнаго по ошибкѣ, восстанавлилась много лѣтъ спустя, но наконецъ утомился. Ему до одурѣнія надоѣло выслушивать одни и тѣ же фразы и упреки въ идеализмѣ, высказываемые старшими, имѣющими вѣсь товарищами. Удалившись ото всѣхъ, онъ большими шагами ходилъ по залѣ и торопливо сворачивалъ, едва замѣчалъ когонибудь изъ знакомыхъ.

Перерывъ окончился.

Заговорилъ Малининъ. Оправдывая своего клиента, онъ взваливалъ всю вину на Петрова и Дарьяновъ негодовалъ на подобную систему защиты.

— Дайте мнѣ воды попить, — хриплымъ тономъ прошепталъ Петровъ, наклоняясь къ Дарьянову.

Алексѣй Николаевичъ исполнилъ его просьбу.

Передавая клиенту стаканъ воды, онъ замѣтилъ, что лицо Петрова искажено отъ страха; его была лихорадка и глаза дико блуждали.

«Неужели онъ дѣйствительно виноватъ?» скользнуло въ головѣ Дарьянова.

Онъ сталъ внимательно вслушиваться въ рѣчь Малинина. Тѣ же факты, освѣщенные съ другой стороны, производили новое впечатлѣніе и молодой адвокатъ съ тревогой поглядывалъ на присяжныхъ, спрашивая себя: неужели и на нихъ эта рѣчь производитъ такое же впечатлѣніе, неужели и въ ихъ сердцахъ шевельнулось сомнѣніе.

«Ахъ, какая досада! Я не все сказалъ! Я не имѣлъ въ виду, что Малининъ будетъ такъ говорить... Но Петровъ... Неужели-же онъ?»

Дарьяновъ старался себя успокоить и вспоминалъ самые сильные доводы, говорящіе въ пользу Петрова, но Малининъ словно угадывая его мысли, разрушалъ его умозаключеніе и логически доказывалъ, что Петровъ *могъ* совершить преступленіе.

— Если-бы Петровъ былъ честнымъ человекомъ, — заключилъ Малининъ — онъ повинился-бы передъ вами, господа присяжные, и сказалъ-бы правду, но... но онъ молчитъ. Рядомъ съ нимъ сидитъ дѣйствительно невиновный, пристегнутый случайно, волею судьбы и капризомъ прокурорскаго надзора, несчастный мужъ и отецъ, разлученный съ семьей, но Петровъ безжалостно губитъ его своимъ молчаніемъ. Кара небесная, если не земная, постигнетъ его, я въ это вѣрую! — трагически закончилъ Малининъ, дѣлая красивый жестъ.

— Господинъ защитникъ, вы не имѣете права такъ говорить, — сурово остановилъ его предсѣдатель.

Но Малининъ не смутился. Онъ уже успѣлъ высказать все что хотѣлъ и замѣчаніе предсѣдателя только прибавляло лавры къ его вѣнку.

— Подсудимый Петровъ, не желаете-ли добавить что либо къ рѣчи своего защитника?

Петровъ тяжело поднялся со скамьи. Опираясь обѣими руками на балюстраду, онъ прерывисто дышалъ. Присяжные, судьи, публика — всѣ смотрѣли на него инстинктивно ожидая чего-то серьезнаго.

Дарьяновъ былъ смертельно блѣденъ.

— Ваше в — скородіе! Господинъ предсѣдатель... прерывающимся, глухимъ голосомъ началъ Петровъ.

«Сознаваться хочеть!» съ быстротою электрической искры мелькнуло у всѣхъ.

— Молчите, вы себя погубите! прошепталъ Дарьяновъ, нагибаясь къ Петрову и съ такимъ властнымъ выраженіемъ смотря на него, что подсудимый вдругъ сжался. Его рѣшимость мгновенно исчезла.

— Ничего не имѣю, ваше в—скородіе, прошепталъ Петровъ, опускаясь на скамью.

II.

Дарьяновъ смутно помнилъ все послѣдующее. Клиентъ Малинина долго и нескладно говорилъ послѣднее слово. Присяжные были утомлены. Они переглядывались, зѣвали и досадовали. Резюме предсѣдателя не произвело особеннаго впечатлѣнія и присяжные ушли совѣщаться.

Алексѣй Николаевичъ чувствовалъ себя подавленнымъ.

Случилось что-то тягостное и глубоко неприятное, но Дарьяновъ самъ не рѣшался сознаться въ своемъ поступкѣ.

Посторонніе, какъ это часто бываетъ, безжалостно прикоснулись къ больному мѣсту.

— А вы ловко ему помѣшали—говорили товарищи.—Вѣдь Петровъ готовъ былъ сознаться. Малининъ пробралъ его. Это было видно, что сознается.

— Помѣшалъ сознаться!?

— Ну, понятно.

— Только ни къ чему это не поведетъ: закатаютъ.

— А это собственно хороший фокусъ. Дѣйствительно, зачѣмъ ему сознаваться?

Дарьяновъ какъ ошеломленный слушалъ эти рѣчи и грозная истина начинала вставать передъ нимъ. Онъ чувствовалъ, что голова его кружится и передъ глазами мелькаютъ красные круги.

«Виновать или не виновать?» — въ тысячный разъ спрашивалъ онъ себя и не находилъ рѣшительнаго отвѣта. Твердая увѣренность, съ которой онъ выступалъ защитникомъ, исчезла, но убѣжденія въ виновности Петрова тоже не существовало.

«Они скажутъ... Они рѣшатъ!»

Раздался звонокъ.

Съ сильно бьющимся сердцемъ вошелъ Дарьяновъ въ залу. Всѣ столпились, всѣ жадно ожидали развязки жизненной драмы. Было уже поздно. Горѣли огни и въ залѣ стояла невыносимая духота.

— Нѣтъ, не виновень!

Глухой шумъ прокатился по залѣ. Одни порицали, другіе одобряли вердиктъ присяжныхъ.

— Нѣтъ, не виновенъ!—повторилъ старшина по отношенію къ кліенту Малинина.

— Вы свободны. Можете идти — объявилъ предсѣдатель, обращаясь къ оправданнымъ.

Кліентъ Малинина торопливо двинулся къ выходу. Петровъ стоялъ въ нерѣшимости, не то удивляясь, не то не понимая случившагося.

Дарьяновъ взглянулъ на него и снова что-то болѣзненное кольнуло его сердце.

Наконецъ Петровъ овладѣлъ собою.

Низко поклонившись присяжнымъ и судьямъ, онъ вышелъ шатаясь и оглядываясь, точно боясь, что его могутъ вернуть.

Алексѣя Николаевича поздравляли съ успѣхомъ, жали ему руку, но онъ сумрачно внималъ дружескимъ похваламъ. Назойливая и ѣдкая мысль не давала ему покоя. Издали замѣтивъ, что Петровъ направляется къ нему, Дарьяновъ торопливо, ни съ кѣмъ не прощаясь, удалился изъ суда.

Онъ боялся разговора со своимъ кліентомъ.

II.

Всю ночь Дарьяновъ провелъ въ ресторанѣ и съ небывалою жадностью пилъ вино. Онъ вернулся на разсвѣтъ и заснулъ какъ убитый.

— Поблагодарить вашу милость пришелъ—вкрадчиво заговорилъ Петровъ, входя на слѣдующее утро въ кабинетъ адвоката.

— Не за что, господинъ Петровъ. Я только исполнилъ свой долгъ. Судъ меня назначилъ — сурово отвѣчалъ Дарьяновъ, стараясь не смотрѣть на кліента.

— Какъ «не за что»! Слово мы не понимаемъ. Мы хотя и не ученые, а... Вы меня точно что спасли... Не скажи вы тогда, вѣдь сознался-бы... Ей-ей! На языкъ было.

— Сознался-бы!?! Значить вы... дѣйствительно?...

Дарьяновъ почти съ ужасомъ смотрѣлъ въ улыбающееся, довольное лицо Петрова. Онъ думалъ, что ослышался, не понялъ.

— Теперь нечего грѣха таить... Было дѣло... подлинно такъ— отвѣчалъ Петровъ, поглаживая длинную бороду. — Ужъ такъ благодаренъ — и сказать не могу... Позвольте по силѣ возможности поднести...

Петровъ протягивалъ пачку асигнацій, продолжая усмѣхаться и любовно смотря на Дарьянова.

Алексѣй Николаевичъ стремительно оттолкнулъ руку кліента и, блѣдный, съ помутившимся взоромъ, съ трясущеюся нижнею челюстью, хрипло крикнулъ:

— Вонъ! Уйдите! И чтобы никогда... слышите: никогда!...

Петровъ попятился назадъ и вышелъ изъ кабинета, считая Дарьянова безумцемъ.

— Сообщникъ! Сообщникъ грабителя, убійцы! — застоналъ Алексѣй Николаевичъ и, схватившись за голову, упалъ на диванъ ничкомъ, рыдая безъ слезъ отъ безсильнаго, мучительнаго отчаянія.

На слѣдующій день Дарьяновъ вышелъ изъ состава защитниковъ...

РЕЦЕНЗЕНТЪ.

(Разсказъ.)

— **В**асилій Ивановичъ, вы гдѣ сегодня вечеромъ? спросилъ редакторъ газеты «Вздохи» молодаго человѣка, страстно желавшаго сдѣлаться «писателемъ» и потому постоянно состоявшаго при какой-нибудь редакціи, хотя имъ всѣ помыкали и пренебрегали.

Тонкій, высокій юноша просіялъ.

— Я... я не знаю, теряясь отвѣчалъ онъ. — У меня масса дѣла... Сегодня двѣ именинницы...

— Къ чорту именинницы! воскликнулъ редакторъ. — У меня у самого жена день рожденія справляетъ, а тутъ хоть разорвись! Въ одномъ театрѣ—новая пьеса, въ другомъ—бенефисъ, въ четвертомъ... Эдакая подлая манера назначать въ одинъ день нѣсколько новинокъ! Не можете ли вы, голубчикъ съѣздить въ театръ Радостей и написать рецензію?

— Рецензію? Могу! Конечно могу!.. Я собственно и желаю...

Редакторъ не дослушалъ. Онъ вручилъ молодому человѣку даровой билетъ въ театръ Радостей и попросилъ не очень «размазывать» рецензію.

Василій Ивановичъ Забугинъ, произведенный въ рецензенты, весьма важно вышелъ изъ редакціи.

Въ кухмистерской, гдѣ Забугинъ обычно обѣдалъ, его встрѣтили знакомые.

— Садись къ намъ, поболтаемъ! приглашали его.

— Нѣтъ, не могу! мнѣ некогда! — озабочено отвѣчалъ онъ. — Столько работы... Ахъ, эти рецензіи... Подумай, долженъ поспѣть на два спектакля...

II.

Не было еще восьми часовъ, когда Забугинъ, съ сознаниемъ собственного достоинства, входилъ въ театръ. Онъ находился въ самомъ блаженномъ состояніи духа, чувствуя себя «персоной».

Еще прежде, посѣщая театры, какъ простой смертный, онъ завидовалъ, замѣчая, какимъ почетомъ пользуются рецензенты. Теперь — онъ самъ находился въ такомъ исключительномъ положеніи и заранѣе предвкушалъ грядущія удовольствія.

«Линьковъ бываетъ въ уборной Звѣздиной, размышлялъ Забугинъ, прохаживаясь по корридорамъ, значить, и я могу зайти къ ней... Ну, конечно могу! Пойду... выскажу ей свое мнѣніе... дамъ совѣтъ... О, она теперь иначе будетъ смотрѣть на меня!.. Я уже не мальчикъ... Какъ жаль, однако, что рецензентамъ не даютъ какихъ-нибудь значковъ! Это было бы необходимо. А то вотъ я... и никто не подозреваетъ...»

Досадуя, что никто не знаетъ о его новомъ положеніи, Забугинъ направился въ буфетъ.

Какъ нарочно — ни души знакомыхъ!

— Эй, человѣкъ! Стаканъ чаю, да поскорѣе! приказалъ Забугинъ, шумно усаживаясь возлѣ столика.

— Съ лимономъ? Со сливками? машинально спрашивалъ слуга.

— Съ лимономъ и поскорѣе! нетерпѣливо возразилъ Забугинъ. — Сейчасъ начнется спектакль, я не успѣю...

— Не извольте беспокоиться. Въ моментъ подамъ! Еще настоящей публики нѣтъ-съ! добавилъ слуга, подавая Забугину стаканъ чая.

— Мы рецензенты, сами *настоящая* публика, проворчалъ молодой человѣкъ, бросая двугривенный и оглядываясь по сторонамъ.

Но увы, его заявленіе: «мы — рецензенты» не произвело никакого впечатлѣнія.

— Эй, человѣкъ! позвалъ Забугинъ. — Скажи, изъ нашихъ никого еще нѣтъ?

Слуга глядѣль съ недоумѣніемъ.

— Изъ нашихъ, повторилъ Забугинъ, хмуря брови.— Изъ сотрудниковъ газеты, «Вздохи»?

— Не могу знать-съ.

— Какъ это ты не знаешь! Ну, хорошо, если спросять: гдѣ рецензентъ газеты «Вздохи», — скажи, что въ 3 ряду, № 26. Понялъ?

Возлѣ сосѣдняго столика сидѣли двѣ дамы. Онѣ услышали фразу Забугина и переглянулись. Почудилось Василью Ивановичу или въ дѣйствительности ихъ заинтересовали слова молодого человѣка, но одна изъ дамъ сказала:

— Надо сообщить Звѣздиной... Необходимо!

III.

Раздался звонокъ, призывающій зрителей въ заль. Забугинъ шелъ торопливо, наступая на шлейфы и безсовѣстно толкаясь.

Во слѣдъ ему раздавались далеко нелестные эпитеты, но рецензентъ не смущался.

Онъ находился при исправленіи своихъ обязанностей...

Занявъ мѣсто и горделиво оглядываясь, Забугинъ страстно желалъ, чтобы кто-либо изъ знакомыхъ видѣлъ его, но, какъ на зло, никого изъ пріятелей въ театрѣ не оказывалось.

Начался спектакль.

Въ качествѣ простаго зрителя, Забугинъ могъ бы наслаждаться или, по крайней мѣрѣ, съ интересомъ слѣдить за развитіемъ интриги и за игрою актеровъ, но въ положеніи критика, обязаннаго дать отчетъ, обосновать свои заключенія и сдѣлать указанія, бѣдный юнецъ чувствовалъ себя сбитымъ съ позиціи.

Вмѣсто того, чтобы *показать* (какъ онъ собирался) собратьямъ по перу, въ какомъ тонѣ слѣдуетъ писать рецензіи, — Забугинъ старался припомнить, *какъ* они начинали свои статьи, *какъ* высказывались, какъ оканчивали...

Порицать оказалось легче, чѣмъ созидать...

Горячій монологъ, произнесенный хорошенькой актрисой, понравился Забугину.

Какъ зритель, онъ готовъ былъ захлопать, но... являясь рецензентомъ, долженъ воздерживаться отъ выраженія удовольствія. Комикъ смѣшилъ его; инженерю восхищала неувядаемостью, но онъ напускалъ на себя суровый видъ и думалъ: «я ихъ проберу!»

IV.

Послѣ втораго акта Забугинъ вышелъ въ фойе. Растрепанный субъектъ приблизился къ нему и спросилъ:

— Извините... Вы рецензентъ газеты «Вздохи»?

— Да, я! съ гордостью отвѣчалъ Забугинъ, ероша свои волосы.

— Г-жа Звѣздина просить васъ къ себѣ.

— А, хорошо... Я найду, съ напускною небрежностью отвѣчалъ онъ. — Вотъ покурю и найду.

— Онѣ сейчасъ просить...

— Ахъ, какъ это скучно!... Ну, нечего дѣлать... Проводите... Я постоянно забываю ваши переходы...

Растрепанный субъектъ улыбнулся и качнулъ головой. Забугинъ только въ послѣдствіи понялъ, что означалъ этотъ жестъ, теперь же шелъ за своимъ проводникомъ, горделиво поглядывая на окружающихъ.

Въ уборной Звѣздиной было тѣсно и душно. Запахъ пудры, духовъ и туалетнаго уксуса ударялъ въ носъ. На столѣ, на стульяхъ и на диванѣ лежали платья, юбки, ленты, etc.

Сама Звѣздина сидѣла передъ зеркаломъ и «дѣлала себѣ лицо». Въ данную минуту она выводила брови и, крѣпко стиснувъ губы, старалась сохранить симметрію въ начертаніи бровей. Она увидѣла Забугина въ зеркалѣ, сзади себя, и гнѣвно обернулась къ нему.

— Вы — рецензентъ? заговорила она. — Вы? Эдакому мальчишкѣ поручаютъ? Да что вы понимаете? Что вы видѣли? Что вы понимаете? твердила она, наступая на оробѣвшаго Забугина. — Пишите, что я стара для инженеру! А!

Каково! Я — стара?! Я понимаю, вы можете говорить о талантѣ, но о моемъ возрастѣ... Это — дерзость, милостивый государь! Я пришла къ вамъ господина, который поговорить съ вами... Я—стара!!

— Но вы ошибаетесь, сударыня...

— Я никогда не ошибаюсь! Такъ поступаютъ только... негодяи!

— Но увѣряю васъ...

— Довольно! Я позвала васъ, чтобы сказать вамъ, что вы... глупы!

Въ уборную вошелъ комикъ, Боровинъ, и услышавъ, что рецензента «отдѣлываютъ», поспѣшилъ присоединиться.

Бѣдняга Забугинъ не зналъ, куда ему дѣться. Онъ говорилъ, что это — не его рецензіи, но его не слушали, продолжая осыпать упреками, почти бранью.

Дѣла труппы шли плохо и всю горечь неудачи, всѣ разочарованія, всю муку голода и холода, всѣ укоры за косность общества, нежелающаго поддержать артистовъ, — все обрушилось на Забугина.

— Стара! Я — стара! злобствовала Звѣздина. — Да что я, съ радости, что ли, играю дѣвочекъ? Дайте мнѣ другія роли... Чорта, дьявола играть стану, если дома — голодные дѣти...

Звѣздина вдругъ заплакала и слезы потекли по ея набѣленнымъ, наруганнымъ щекамъ. Забугину стало безмѣрно жаль ее.

До сихъ поръ онъ видѣлъ въ ней только актрису, теперь же понялъ ее какъ человѣка, понималъ—и сердце его сжалось отъ боли.

— Вы состаритесь, такъ вамъ цѣна больше, говорила Звѣздина. — Скажутъ: «опытный журналистъ»... А мы... вѣдь про насъ сказать: «стара», это — убить значитъ... И для чего вы навязываете это мнѣнiе публикѣ? Для чего? Пятачекъ лишнiй? Стыдно вамъ! Стыдно...

Забугинъ вышелъ изъ уборной актрисы пристыженнымъ и разстроеннымъ.

Правда и гуманность предъявляли слишкомъ различныя требованiя.

Ему было жаль Звѣздину, во имя куска хлѣба обязанную играть «Сорванцовъ», но называть ее «молодою» — онъ не могъ...

На слѣдующiй день въ газетѣ, «Вздохи», не было никакой рецензiи и когда редакторъ сдѣлалъ выговоръ Забугину, молодой человѣкъ отвѣтилъ:

— Я... я... лучше я объ пожарахъ стану писать...

СТУШЕВАЛАСЬ.

(Разказъ.)



I.

Она любила его какъ свое дѣтище, какъ воплощенную мечту, какъ результатъ упорнаго труда.

Онъ былъ артистъ-пѣвецъ; она — скромная, простенькая женщина, но могучая любовь сдѣлала изъ нея вдохновительницу, почти героиню.

Въ немъ, въ своемъ избранникѣ, угадала она талантъ, и отдала всѣ силы, чтобы помочь ему развиться, сдѣлаться замѣтною единицею, властелиномъ толпы.

И она побѣдила всѣ трудности.

У него былъ талантъ, но не было образованія, и она осторожно, бережно, чтобы не оскорбить артистическое самомнѣнiе молодаго человѣка, развивала его, читала ему классиковъ, бесѣдовала съ нимъ, возбуждая стремленiе къ высшимъ наслажденiямъ.

Она радостно и горделиво улыбалась, замѣчая, какъ растетъ ея дѣтище, какъ крѣпнетъ его талантъ, какъ совершенствуется его голосъ.

Такъ проходили годы.

Супруговъ Кравцевыхъ связывала самая сердечная, искренняя дружба, но любовь то обострялась, то падала до minimum'a.

II.

Невѣроятныхъ трудностей стоило ей добиться для него дебюта передъ избалованною и строгою столичною публикою.

Но она не пощадила ни усилий, ни энергій, ни даже собственной гордости. Скрывая отъ своего мужа, что ей приходится просить, умолять, почти плакать, чтобы добиться вниманія къ недоужинному дарованію новичка, она возвращалась домой довольная, ликующая, и затаивъ перенесенныя муки, говорила, что всѣ хвалятъ его, вѣрятъ въ его талантъ, и наперерывъ предлагаютъ ему выступить въ любой день, въ любой роли.

Недовѣрять Аннѣ Кравцевъ не имѣлъ права. Она никогда не лгала, и даже щеголяла своею правдивостью. И какъ же казнилась она за эту вынужденную ложь, когда Кравцевъ, повторяя слова жены, говорилъ о вымоленномъ дебютѣ, какъ о чемъ-то ничтожномъ!

Кравцевъ не понималъ, конечно, что она, любящая и вѣрующая въ его талантъ, старается внушить ему необходимое для дебютанта муже-

ство, что его лавры нужны ей, какъ награда, какъ самооправданіе, какъ доказательство, что ея труды потрачены не даромъ.

Въ день перваго спектакля Анна была истинною мученицею. Онъ шелъ на борьбу, а она оставалась простою зрительницею, — она, дышавшая имъ, она — творецъ его удачи...

И какъ гордилась она, бѣдняжка, чуткимъ слухомъ любящаго существа, угадывая производимое впечатлѣніе гораздо раньше, чѣмъ оно выразилось въ шумныхъ, потрясающихъ рукоплесканіяхъ.

Онъ выходилъ на сцену сіяющій, довольный; онъ кланялся публикѣ, съумѣвшей понять его талантъ; онъ наслаждался дикою гармоніею восторженныхъ кликовъ, а у нея, по поблѣднѣвшему лицу, катились тихія и свѣтлыя слезы счастья.

Толпа, это тысячеголовое чудовище, признала *ея дѣтище*, и въ душѣ Анны трепетало радостное, безгранично дорогое сознаніе:

— Онъ — мой, и только мой!

III.

Вслѣдъ за этимъ вечеромъ, полнымъ жгучей прелести, началась новая жизнь.

Только-что выступившій изъ неизвѣстности, Кравцевъ сдѣлался баловнемъ женщинъ, пред-

метомъ ихъ обожанія, восторговъ и даже любовныхъ признаній.

Въ наше время *рыночная стоимость* человѣка мгновенно придаетъ ему исключительное значеніе въ глазахъ дамскаго общества, стремящагося чѣмъ-нибудь увлечься.

Анна была только женою артиста, его другомъ, вдохновительницею, но соціальнаго значенія она, конечно, не имѣла, и не могъ же онъ, отправляясь къ какой-нибудь изъ своихъ свѣтскихъ поклонницъ, привезти съ собою жену, говоря:

— Это—моя подруга!..

Анна и не обвиняла мужа, но ей было горько и больно, какъ нѣжной матери, когда сынъ ея, женившись, становится рабомъ другой женщины.

Тамъ—молодость и красота привлекли человѣка; здѣсь—толпа, жадная до всякой новинки, отнимала его отъ домашняго очага...

День за днемъ нарастали новыя событія, случались эпизоды, ничего тревожнаго не имѣвшіе, но какъ бы нравственно разлучавшіе недавно еще тѣсно связанныхъ людей.

У Кравцева явились новые знакомые, новые интересы, чуждые и непонятные для нея. Анна жадно всматривалась въ лицо милаго человѣка, боясь увидѣть выраженіе скуки, неудовольствія или равнодушія, когда они изрѣдка оставались одни. Стремясь угодить ему, она заводила именно такіе разговоры, которые могли быть ему пріятны,

выслушивала его рассказы о людяхъ, съ которыми у нея не было ничего общаго.

Мгновеньями ей казалось, что Кравцевъ ускользаетъ отъ нея, что теперь она не можетъ, какъ прежде, въ каждую минуту безошибочно опредѣлить, о чемъ онъ думаетъ, что ощущаетъ; что между ними явилось нѣчто новое, еще не имѣющее названія, но тѣмъ не менѣе грозное, какъ призракъ нравственнаго разлада.

И все-таки Анна не роптала, не жаловалась; она страдала гордо и безмолвно...

III.

Какъ она замѣтила, какъ поняла случившееся—она и сама не могла бы отвѣтить. Есть такіе мельчайшіе, едва уловимые признаки, которые являются ничтожными для равнодушнаго, и громадными для любящаго человѣка.

Среди новыхъ знакомыхъ Кравцева была одна барыня, страстная любительница пѣнія и не менѣе восторженная поклонница молодаго артиста.

Кравцевъ часто говорилъ о ней, передавалъ ея мнѣнія, отзывы, даже совѣты, а потомъ вдругъ замолчалъ, пересталъ упоминать ея имя, и даже избѣгалъ говорить о ней.

Молчаніе обличило его и возбудило тревогу въ душѣ Анны.

Теперь она сама заводила разговоры о м-ше Джульяни, и основываясь на слухахъ, высказывала о ней хорошее мнѣніе.

Кравцевъ спѣшилъ измѣнить направленіе бесѣды, и становился шумно веселъ, или, напротивъ, дѣлался мрачно задумчивъ.

Такъ прошло около мѣсяца.

Въ отношеніяхъ къ женѣ у Кравцева проявлялось нѣчто новое. Онъ то страстно и жадно ласкалъ ее, то выказывалъ рѣзкое недружелюбіе, и точно рабъ мстилъ властелину за то владычество, которое не рѣшался свергнуть.

Анна видѣла, что мужъ страдаетъ, что онъ какъ бы безмолвно молить жену-друга спасти его отъ себя самого, вдохнуть въ него необходимое мужество.

И дѣйствительно, ему надо было не мало силъ, выдержки и... добродѣтели.

Избалованная жизнью, гордая и изящная, красавица Джульяни не на шутку увлеклась Кравцевымъ. Тоскующая и пресыщенная, всѣми и всѣмъ разочарованная, она нашла въ молодомъ пѣвцѣ нѣчто чистое, свѣтлое и властно притягательное.

Джульяни вовсе не интересовалъ вопросъ: есть-ли у Кравцева семья, обязанности, etc. Ей нравился этотъ молодой человѣкъ, такъ не похожій на всѣхъ ея поклонниковъ, и она желала, чтобы онъ бывалъ у нея часто, ежедневно.

Ей доставляло громадное удовольствіе слушать его ласкающій, звучный теноръ, глядѣть на него, внимать его рѣчамъ, въ которыхъ не было ничего заученаго, условнаго, а была только правда...

Если бы и въ немъ она встрѣтила стремленіе ухаживать, она оттолкнула бы его какъ другихъ, смертельно надоѣвшихъ ей своею любовною эмпансивностью, но онъ ни однимъ словомъ не выражалъ своихъ чувствъ, и это еще больше интриговало ее.

Опытъ минувшаго и настоящее доказывали ей, что не полюбить ее, — если она этого пожелаетъ — невозможно, а между тѣмъ молодой пѣвецъ оставался непобѣдимымъ.

И ей нравилась эта гордая чистота, не идущая на приманку женскаго кокетства, нравилось, что онъ цѣнитъ въ ней человѣка, а не красоту, за которою принято ухаживать, добиваясь поцѣлуя или нѣжнаго слова.

О томъ, что ея близость доставляетъ страданіе женѣ Кравцева — Джульяни и не подозрѣвала, а потому чрезвычайно удивилась, когда какъ-то утромъ ей доложили, что г-жа Кравцева желаетъ ее видѣть.

— Вы ошиблись? переспросила Джульяни. — Вѣроятно г-нъ Кравцевъ?

— Нѣтъ, молодая, хорошенькая дама...

— Даже хорошенькая?! Просите.

V.

Анна смѣло вошла въ будуаръ Джульяни. Обстановка комнаты, низенькая мебель, аромать свѣжихъ цвѣтовъ, пріятная полутьма, все подсказывало, что здѣсь живутъ наслаждаясь, что трудъ и заботы навѣки изгнаны изъ этого чарующаго уголка.

На шопитрѣ рояля лежали открытыя ноты.

Анна мелькомъ взглянула на нихъ. Это былъ романсъ, который пѣлъ ея мужъ... Онъ недавно разучилъ его, но постоянно напѣвалъ въ полголоса, говоря, что это—его любимая вещьца.

Быстрымъ взоромъ замѣтила и мгновенно поняла Анна, почему мужъ не показалъ ей этихъ нотъ. Тамъ было напечатано посвященіе автора—пѣвцу, а авторомъ... оказывалась Джульяни...

Хозяйка не заставила себя долго ждать. Она появилась, гордая, красивая, въ нарядномъ доъ машнемъ туалетѣ, и съ особеннымъ вниманіемъ всматривалась въ наружность жены артиста.

«Такъ вотъ какую женщину онъ любить! думала Джульяни.—Вотъ какою надо быть, чтобы понравиться ему! Маленькая, граціозная, съ личикомъ испуганнаго или изумленнаго ребенка. Такое ничтожество, и овладѣло Голяфомъ!»

И ей страстно захотѣлось теперь быть такою же миниатюрною. Она ненавидѣла и свой крупный ростъ, и представительную внѣшность, и гордую усмѣшку, все то, чѣмъ имѣла право гордиться...

— Я очень рада, что вы, м-ме Кравцева, начала Джульяни,—собрались ко мнѣ. Я столько разъ просила вашего мужа... Хотѣла познакомиться, и наконецъ... Садитесь, м-ме Кравцева.

— Меня зовутъ Анна Петровна... Я пришла не ради знакомства. Мнѣ надо поговорить съ вами...

Чѣмъ-то суровымъ и властительнымъ прозвучалъ голосъ молодой женщины въ этой комнатѣ нѣги.

Джульяни еще не знала, что скажетъ ей Анна, но ей уже дѣлалось неловко, почти жутко.

Такъ виновная ждетъ слова обличенія; такъ чувствуетъ себя лжець передъ проповѣдникомъ правды.

Никакого преступленія на душѣ Джульяни не существовало, но она инстинктивно понимала, что полюбивъ мужа этой милой женщины, она уже нарушила ея права, вторглась въ заповѣдную область.

— Пожалуйста. Я готова, тихо отвѣчала Джульяни, не прибѣгая къ обычной уловкѣ женщинъ, стремящихся отодвинуть тягостное объясненіе, и потому дѣлающихъ массу ненужныхъ вопросовъ.

Простота Джульяни приятно подѣйствовала на Анну, но вмѣстѣ съ тѣмъ обаяніе этой гордой красавицы показалось ей еще опаснѣе.

Если бы она была пустою, вѣтряною кокеткою, борьба являлась бы менѣе трудною; но Анна угадывала, что Джульяни любить ея мужа...

Прошло нѣсколько секундъ, прежде чѣмъ Анна собралась съ силами.

— Я хотѣла, начала она, но Джульяни стремительно прервала ее:

— Не падите меня... Не выбирайте выражений... Вы... вы имѣете право!.. Если я виновата, то только въ одномъ: я не знала, я забыла о вашемъ существованіи... Я не знала, что вы такая... Не падите же! Я виновата... Да! Да! Виновата!

Анна поблѣднѣла. Страстное самообвиненіе Джульяни пробудило въ ея душѣ ревнивое подозрѣніе. Неужели же она опоздала? Неужели все кончено?

Джульяни и сама поняла свою оплошность.

— Вѣдь вы это и хотѣли сказать мнѣ? Да? Это? Вы пришли потребовать, чтобы я не видалась съ нимъ? Да? Хорошо... Это—ваше право! Я покорюсь... Но вы... вы разобьете мнѣ сердце!

Джульяни опустилась въ кресло и закрыла лицо руками. Анна глядѣла на нее съ выраженіемъ сожалѣнія и глубокой скорби.

Она, оскорбленная, сочувствовала посягательницѣ на ея счастье... Она, измученная подозрѣніями, желала утѣшить страдающую соперницу.

— Между мною и вашимъ мужемъ не было произнесено ни одного слова, котораго вы не могли бы слышать, снова заговорила Джульяни, находя жгучую прелесть въ самобичеваніи,—но я люблю его, люблю глубоко... горячо и такъ чисто, такъ свято, что не взяла бы отъ него даже братскаго поцѣлуя... Вѣрите вы мнѣ? Да! Да! Вы должны вѣрить! Я люблю свою любовь къ нему, я люблю его чистоту, люблю его гордую холодность, его молодую отвагу, люблю за то, что онъ не похожъ на остальныхъ, за то, что онъ сумѣлъ заставить забиться мое холодное сердце, за то, что благодаря ему, я научилась мечтать, что мнѣ есть кого ждать, о комъ думать, вѣмъ восхищаться! Но вы—жена! Вы имѣете право запретить ему бывать у меня, и, повѣрьте, я не стану искать тайныхъ свиданій, если бы даже эта разлука оказалась выше моихъ силъ. Моя любовь къ нему—это болѣзнь, горе, это несчастье..

— Но можетъ быть и онъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, молчите! Ни слова! Я не хочу, я не возьму его любви, если бы даже она явилась... Пигмаліонъ сдѣлалъ глупость, я — повторять ее не хочу! Ахъ, точно вы не знаете, что слово убиваетъ чувство, что поцѣлуй—смертельный приговоръ любви!

— Но... но... къ чему же поведетъ эта исторія?.. Что хорошо въ романѣ — немислимо въ жизни...

Джульяни молчала.

Жена Кравцева имѣла нравственное право требовать отвѣта, но какъ было отвѣчать на подобные вопросы?

— Если онъ... мой мужъ... любить или полюбить васъ, я не буду становиться на его дорогѣ; но вы — хорошая, чуткая женщина, и я спрашиваю: можете-ли вы принять на себя отвѣтъ за его будущее, быть для него тѣмъ другомъ и помощникомъ, какимъ я была въ теченіи долгихъ лѣтъ, пока онъ добивался славы?

— Нѣтъ, не могу... Я... я не умѣю такъ любить, какъ вы... съ отчаяньемъ вырвалось у Джульяни. — Такъ — не могу... не способна!..

— Но вы его все-таки любите! съ усилениемъ продолжала Анна. — Вамъ дорогъ его талантъ, его слава, и не станете же вы губить его! Пока онъ любилъ меня, онъ работалъ, трудился, теперь его манятъ жизненные радости, онъ ищетъ только удовольствій.

— Чего же вы требуете? Скажите! Я все, все сдѣлаю...

Джульяни напряженно ожидала рѣшенія своей участи. Она знала, что скажетъ Анна; знала, что и она сама сказала бы тоже самое, находясь на ея мѣстѣ:

«Не надо видѣться, не надо встрѣчаться!»

Но Анна не вымолвила этихъ жестокихъ, и въ сущности бесполезныхъ словъ.

«Не видѣться... не встрѣчаться!» Если есть чувство, люди станутъ думать одинъ о другомъ скучать, тяготиться разлукою, и, подъ вліяніемъ усиленной мечтательности, будутъ раздувать свое влеченіе. А если нѣтъ взаимности, не надо и разлуки...

Если бы Анна была менѣ честна, она могла бы оклеветать Джульяни, могла бы, какъ сотни ревнующихъ женщинъ, тонко и ядовито порицать соперницу, подрывая къ ней всякое уваженіе и симпатію... Но Анна не умѣла дѣйствовать противъ своихъ убѣжденій...

Въ силу всего того, что она слышала о Джульяни, и въ особенности, послѣ личнаго свиданія, Анна всецѣло расположилась къ молодой женщинѣ.

Она понимала душевное состояніе Джульяни, — понимала, что мужу можетъ нравиться такая женщина, что ея любовь является слишкомъ могучимъ соблазномъ, но въ то же время сознавала, что нѣтъ никакого выхода изъ существующаго положенія.

Игра въ любовь, легкая интрижка, увлеченіе, длящееся нѣсколько дней — все это здѣсь были невозможно...

Дѣйствующія лица этой жизненной драмы были честные люди, и не могли идти ни на какіе компромиссы.

VI.

Не дождавшись отвѣта Анны, Джульяни сама сказала:

— Разстаться надо... Отказаться отъ счастья видѣть его, слышать его голосъ, говорить съ нимъ... Да? Что же вы молчите? Ахъ, да скажите вы хотя что-нибудь!

— А это... поможетъ?

— Кому? Вамъ? Конечно! Ему — не знаю, а мнѣ... мнѣ разобьетъ жизнь...

— Вы думаете онъ, мой мужъ, не любитъ васъ? едва слышно спросила Анна, раскаяваясь въ своемъ вопросѣ, едва только было произнесено первое слово.

— Не знаю, не хочу знать, не интересуюсь! Если онъ полюбитъ — мое чувство исчезнетъ мгновенно. Нѣтъ, даже больше: вмѣсто нѣжности, явится презрѣніе, почти гадливость. Изъ кумира онъ сдѣлается въ моихъ глазахъ ничтожествомъ. Ахъ, поймите меня... Я дорожу возможностью любить... Я лелѣю это чувство, и разбивать свой кумиръ — я не хочу.

Она стиснула руки и замолчала.

Блѣдное лицо Анны и ея поникшая голова заставили опомниться Джульяни.

— Простите меня, тихо добавила она, протягивая руку. — Я не должна говорить вамъ о своемъ чувствѣ къ нему. Это... это тоже преступленіе... не деликатность, эгоизмъ... Но Боже мой, Боже, какъ я безумно люблю его!

Въ дверь будуара постучали.

Одно мгновенье, и лицо Джульяни преобразилось.

Анна поняла, какъ умѣетъ владѣть собою эта женщина, и прониклась къ ней еще большимъ сочувствіемъ. Вмѣсто выраженія мучительной тоски, въ глазахъ ея сверкала теперь холодная гордость, и казалось, никакія силы не могутъ сломить эту натуру.

— Г. Кравцевъ желаетъ васъ видѣть, доложилъ лакей, не зная, кто эта гостья, вздрогнувшая при имени новаго посѣтителя.

Джульяни поглядѣла на Анну, слегка прищуривъ глаза и затѣмъ, медлительно, какъ бы съ громаднымъ усиліемъ надъ собою, сказала слугѣ:

— Передайте г. Кравцеву, что я очень извиняюсь. Не могу принять. Скажите, что сегодня... вечеромъ... я уѣзжаю за границу... Получила телеграмму...

Слуга ушелъ.

Хозяйка и гостья молчали.

— Зачѣмъ эта... жертва? И не нужная и тягостная... Зачѣмъ обрекать себя на горе?

— Не спрашивайте... не говорите. Я сдѣлала все, что нужно! Я больше сдѣлала, чѣмъ могу вынести... Прощайте... Будьте счастливы, и когда-нибудь скажите ему все, все... И мою муку, и жертву, которую я принесла ради его будущаго...

Анна ушла подавленная, разбитая и уничтоженная великодушнымъ поступкомъ Джульяни.

Она поѣхала къ ней съ намѣреніемъ потребовать рѣшительнаго отвѣта; она придумывала, что скажетъ ей, какъ станетъ защищать свои права, какими словами пристыдить кокетливую вѣтреницу, увлекающую ее мужа, а увидѣла такое глубокое страданіе, такое горе, что одержавъ побѣду, чувствовала себя хуже побѣжденной...

Джульяни не сдержала своего обѣщанія, и Кравцевъ напрасно ожидалъ ее на деберкадерѣ варшавскаго вокзала.

«Она не уѣхала за границу! Она не уѣдетъ!» радостно думалъ онъ, когда прозвучалъ третій звонокъ, и длинный рядъ вагоновъ, извиваясь, какъ гигантская змѣя, двинулся впередъ. «Отложила поѣздку. Останется. Увижу ее завтра!»

Только сегодня, подъ вліяніемъ извѣстія объ ея отъѣздѣ, понялъ Кравцевъ, что не простая симпатія влекла его къ ней, что болѣе нѣжное и глубокое чувство возбудила Джульяни въ его душѣ, и хотя онъ самъ боялся назвать его иначе какъ «дружбою», оно росло, ширилось, и проявляло свою силу въ самыхъ разнообразныхъ формахъ.

Весь вечеръ Кравцевъ провелъ дома. Онъ хандрить и почти не отвѣчалъ на вопросы Анны, касавшіеся концерта, въ которомъ онъ долженъ былъ участвовать, а когда жена поинтересовалась знать, что именно будетъ онъ пѣть, пробормоталъ:

— Я ничего, ничего не знаю! Не все-ли равно что? Меня совсѣмъ, совсѣмъ это не занимаетъ.

Утромъ, когда Кравцевъ еще спалъ, Анна получила записку отъ Джульяни.

«Я не уѣхала, нр... я умираю. Такъ легче и надежнѣе. Дай Богъ вамъ счастья. Мой привѣтъ ему».

Анна тихо рыдала, читая эту короткую, полную глубокаго смысла записку.

Кравцевъ проснулся, и инстинктивно угадавъ случившееся, вырвалъ изъ рукъ жены письмо Джульяни.

Онъ прочелъ эти строки, и съ выраженіемъ безграничной ненависти, бросилъ въ лицо Анны оскорбительное, никогда незабываемое слово.

.....
Когда Кравцевъ пріѣхалъ къ Джульяни она уже лежала на столѣ, вся въ бѣломъ, засыпанная свѣжими цвѣтами, счастливая и спокойная.

Горничная передала Кравцеву небольшой конвертъ. Тамъ лежала карточка и короткая записка.

«Я знала, что вы придете, писала Джульяни ровнымъ, четкимъ почеркомъ, — знала, что вы захотите еще разъ взглянуть на меня. Это сознание даетъ мнѣ счастье. Любовь къ вамъ, безумная, горячая любовь захватила меня всю. Ни силъ для борьбы, ни самаго желанія бороться... Люблю—и не хочу взаимности; люблю—и боюсь своей любви; люблю — и умираю, чтобы не пережить настоящего, еще ничѣмъ не омраченнаго, не опозореннаго... Прощайте! Вы будете, вы должны быть счастливы! У васъ есть все, чѣмъ красна жизнь: и талантъ, и любовь, и слава...»

Но Джульяни ошиблась.

Ея смерть разлучила Кравцевыхъ.

Образъ умершей соперницы стоялъ между ними, и рядомъ съ восторженнымъ обожаніемъ ея памяти, въ душѣ Кравцева росло враждебное чувство къ женѣ-другу, къ женѣ-товарищу и творцу его удачи.

Теперь всѣ подвиги Анны казались ему ничтожными. Онъ видѣлъ въ ней только ревнивую собственницу, грубо и жестоко поступившую съ тою женщиною, которая такъ свято и чисто полюбила его.

Преданная и глубокая привязанность жены являлась чѣмъ-то официальнымъ, а та, умершая, унесла съ собою всю предельность неизвѣданнаго, и потому увлекательнаго, манящаго...

Прошли годы и годы...

Имя Кравцева гремитъ. Онъ пользуется громкою славою, но никто, навѣрное, не позавидуетъ его семейной жизни.

У него есть средства, почетъ, есть преданное существо въ видѣ худенькой, блѣдной, съжившейся и нравственно, и физически жены, но у него нѣтъ ни минуты того душевнаго равновѣсія, которое называется счастьемъ.

Онъ боится и женщинъ, и любви. Рабъ своей жены, онъ не разстается съ нею, но ихъ союзъ напоминаетъ скованныхъ каторжниковъ, обязанныхъ быть вѣчно вмѣстѣ.

Когда Аннѣ хвалятъ талантъ мужа и восторгаются ея семейнымъ счастьемъ, бѣдная женщина старается улыбнуться, и шепчетъ поблѣднѣвшими губами:

— Да, я счастлива... Я очень, очень счастлива!

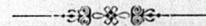
Но въ душѣ Анна искренно завидуетъ Джульяни, съумѣвшей во время умереть.

Та не пережила своей любви, та не похорила своихъ мечтаній...



ПОСЛѢДНЯЯ КАПЛЯ.

(Эскизъ).



— Ну, что, Алеша, тебя можно поздравить съ побѣдой?—ласково спросила молодая и хорошенькая женщина, обращаясь къ мужу, только что возвратившемуся изъ суда, гдѣ онъ выступалъ обвинителемъ по дѣлу Курчаева.—Ты сегодня говорилъ замѣчательно хорошо, просто прелесть! Я положительно восхищалась твоей рѣчью, милый...

— Да, Курчаевъ признанъ виновнымъ. Даже снисхожденія не дали! отрывисто отвѣчала молодой товарищъ прокурора, Алексѣй Петровичъ Казанскій и, держа портфель подъ мышкой, прошелъ въ кабинетъ.

Жена слѣдовала за нимъ, продолжая восхищаться и передавать отзывы, слышанные ею въ судѣ отъ различныхъ знакомыхъ. Она говорила съ тою милою непринужденностью, съ тѣмъ счастливымъ, мелодичнымъ смѣхомъ, которые замѣчаются у людей, привыкшихъ встрѣчать симпатичное отношеніе собесѣдника.

Казанскіе были женаты нѣсколько лѣтъ и, какъ-бы на зло всѣмъ врагамъ семейной жизни, представляли дружную, счастливую парочку. Вѣра интересовалась всѣми дѣлами мужа и подѣ часъ являлась его помощницей. Алексѣй Петровичъ цѣнилъ въ женѣ чуткость пониманія и трезвость мысли: онъ нерѣдко совѣтывался съ нею и внимательно прислушивался къ ея разсужденіямъ, чуждаясь эгоистическаго стремленія считать себя умнѣе всѣхъ.

— Да что съ тобой сегодня, Алеша?— наконецъ не выдержала Вѣра Васильевна, замѣчая мрачную молчаливость и сосредоточенность мужа. — У тебя вѣрно опять голова болитъ? Мигрень? Да? Ахъ, эта служба!

— Нѣтъ, милая, я здоровъ.

— Ну, такъ безпокоить что-нибудь?

Казанскій съ тревогой взглянулъ на жену. Посвящать Вѣру въ свою заботу теперь, пока онъ самъ еще не овладѣлъ ею, не справился,—являлось невозможнымъ. Алексѣй Петровичъ сдѣлалъ надъ собой серьезное усиліе и, улыбнувшись, отвѣчалъ:

— Рѣшительно ничего нѣтъ, дружокъ. Тебѣ показалось... Я просто усталъ—вотъ и все.

— И я тоже хороша! воскликнула Вѣра Васильевна, мгновенно успокаиваясь.—Понятно! И усталъ и проголодался... Вѣдь два дня тянулось это дѣло. Извини, голубчикъ! Я болтаю, рассказываю, а о самомъ главномъ и забыла. Обѣдъ

сейчасъ, сію секунду... Я сегодня заказала твои любимыя пышки и ростбифъ. Оттого я и не осталась въ судѣ до конца процесса. Марса навѣрно пережарила-бы все. Ну, да ты мнѣ расскажешь все послѣ обѣда. Да?

И не ожидая отвѣта мужа, молодая женщина вышла изъ кабинета, весело напѣвая что-то, а Казанскій, проводивъ ее задумчивымъ взоромъ, глубоко вздохнулъ.

«Она не угадываетъ моихъ терзаній, даже не подозреваетъ ихъ,—подумалъ молодой человекъ, проводя рукой по лбу. Значить на нее не подѣйствовало то, что такъ поразило меня. Но поняла она, или нѣтъ... Нѣтъ, Вѣра ушла раньше. Она не видѣла, какъ глядѣлъ Курчаевъ.»

— Алеша, обѣдать! Супъ простынетъ! крикнула жена, проходя мимо дверей кабинета.

— Папа, обѣдать, папа! вторилъ матери пятилѣтній бутузъ, краснощекій Петя, неистово топая ножками и заливаясь радостнымъ смѣхомъ.

«А можетъ быть я совершенно напрасно волнуясь?—мелькнуло въ головѣ Казанскаго успокоительное предположеніе. Факты говорятъ за меня... Основывать мнѣніе подѣ случайнымъ впечатлѣніемъ взгляда подсудимаго—странно... Десять и, сотни дѣлъ происходили въ такомъ-же родѣ, а тутъ... Нѣтъ, я просто нервничаю. Надо взять себя въ руки».

Жажда отдохнуть отъ томящихъ размышленій и желаніе предаться чистымъ радостямъ семей-

ной жизни охватили Казанскаго. Онъ отодвинулъ портфель въ дальній уголъ стола и, замѣнивъ форменный мундиръ домашнимъ сюртукомъ, вышелъ изъ кабинета, заставляя себя думать только объ женѣ, сынѣ, да о ростбифѣ.

Въ столовой было, свѣтло, уютно, тепло. Большая лампа съ абажуромъ спускалась съ потолка и озаряла столъ ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ. Въ сервировкѣ не замѣчалось роскоши, но все было такъ изящно и красиво, все ласкало взоръ. На высокомъ стулѣ преважно возсѣдалъ первенецъ и кумиръ молодыхъ сунруговъ—баловникъ Петя, а возлѣ него, по обѣимъ сторонамъ помѣщались отецъ и мать. Сзади Пети, въ нѣкоторомъ отдаленіи, стояла няня—видная, рослая старушка съ добрымъ, но сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ и не спускала глазъ со своего любимца.

Но Петя совсѣмъ забылъ объ нянѣ. Онъ почти два дня не видѣлъ отца и, захлебываясь отъ восторга, болталъ безъ умолку, сообщая палѣ всѣ радости и горести своей дѣтской жизни. Алексѣй Петровичъ и Вѣра молча переглядывались, ощущая приливъ горделивой радости. Имъ было такъ хорошо теперь, такъ пріятно. Они любили другъ друга, они обожали своего малютку и въ беспорядочномъ потокѣ болтовни Пети, ихъ нѣжное вниманіе отмѣчало несуществующія быть можетъ достоинства...

Вѣра была болѣе экспансивна. Она не могла наслаждаться молча.

— Знаешь Алеша, у нашего Пети положительный даръ краснорѣчія—замѣтила молодая женщина—онъ сегодня сталъ о чемъ-то спорить съ няней и приводилъ такія доказательства, такіе аргументы... я удивилась! Да, Алеша, имѣй въ виду: Петя будущій ораторъ... прокуроръ!

— Только не прокуроръ, съ горячностью возразилъ Казанскій и нахмурился. Ему стало досадно, зачѣмъ нарушила Вѣра его радостное, спокойное состояніе, зачѣмъ натолкнула его на прежнія думы. Алексѣю Петровичу опять вспомнилось послѣднее слово подеудимаго, звучавшее истинной правдою и снова всталъ утѣшительный вопросъ: «А что если Курчаевъ не виноватъ?»

Разпалившійся Петя уронилъ тарелку съ ростбифомъ на колѣни и потребовалось энергическое вмѣшательство няни. Старушка акала и ворчала, вытирая платье мальчугана и онъ присмирѣлъ, сознавая свою вину.

Казанскій воспользовался этимъ временемъ и спросилъ жену, стараясь говорить спокойно, почти небрежно:

— Скажи, Вѣрочка, какое впечатлѣніе произвелъ на тебя Курчаевъ?

— Очень хорошее, Алеша. Просто не вѣрилось, что онъ способенъ на кражу.

— Да? протянулъ Казанскій.—Вотъ какъ?

— И знаешь милый, оживляясь продолжала молодая женщина,—до твоей рѣчи всѣмъ казалось, что его *должны* оправдать. Присяжные на

него смотрѣли съ сочувствіемъ, съ жалостью, и возлѣ меня адвокаты утверждали: «оправдаютъ!». Правда, говорили, что защитникъ плохъ, не знаетъ дѣла.

— Ну, а ты, Вѣра, ты какое убѣжденіе вынесла?

Молодая женщина на мгновеніе смутилась. Она безусловно вѣрила въ умъ, честность и талантъ мужа. Если случалось, она чувствовала несогласіе съ мнѣніемъ Алеши, то старалась побѣдить себя и подчиниться его доводамъ. Вѣра слишкомъ любила и уважала мужа, чтобы допустить возможность ошибки съ его стороны.

Во время слушанія дѣла Курчаева она всѣмъ сердцемъ сочувствовала подсудимому, считая его жертвою недоразумѣнія, но послѣ обвинительной рѣчи мужа круто измѣнила мнѣніе. Казанскій шагъ за шагомъ, разумно и логично доказывалъ виновность Курчаева и присяжные засѣдатели видимо перешли на сторону обвинительной власти.

— То, что ты говоришь, Алеша, вполне доказывало... начала она.

— Я не о томъ спрашиваю, Вѣра, рѣзко перебилъ Казанскій.— Забудь о моей рѣчи... Я хотѣлъ знать: считаешь ты его виновнымъ или нѣтъ?

— Не знаю, съ легкимъ колебаніемъ отвѣчала Вѣра.

— И я не знаю! глухо прошептала Алексѣй Потровичъ и, отодвинувъ тарелку, всталъ изъ за стола.

II.

Казанскій отказался отъ кофе и приказалъ, чтобы къ нему никто не входилъ. Ему нужно было остаться одному и осилить мучительную, неотвязную думу, найти исходъ, успокоеніе.

Ничего особеннаго не случилось. Разбиралось самое обыкновенное дѣло: кража со взломомъ. Обвиняемый—захудалый дворянинъ, обремененный семействомъ—оставался караулить квартиру богатой княгини Энской. Все оказалось въ порядкѣ и княгиня даже поблагодарила Курчаева, подаривъ ему красненькую. Прошелъ день-другой. Открыли несгораемый шкафъ и ужаснулись: драгоценности княгини исчезли. Подозрѣніе было заявлено на Курчаева. Сдѣлали обыскъ и среди всякаго хлама нашелся футляръ, принадлежащій княгинѣ.

Улика оказалась на лицо.

Курчаевъ клялся въ своей невиновности, но не давалъ, да и не могъ представить никакихъ доказательствъ. Его посадили въ тюрьму, дѣлали допросы, очные ставки и, въ концѣ концовъ, предали суду.

Казанскій былъ убѣжденъ въ виновности подсудимаго и искренно возмущался его заpiresательствомъ. Онъ видѣлъ въ этомъ доказательство порочности и злой воли. Въ такомъ смыслѣ была сказана его рѣчь—красивая, образная и го-

рячая. Защитникъ, «одинъ изъ стаи модныхъ», не далъ себѣ труда прочесть дѣло и ограничился нанизываніемъ цестрыхъ фразъ и банальныхъ восклицаній.

Присяжные слушали, пожимая плечами.

Не находя въ рѣчи защитника никакихъ фактовъ, они нѣсколько своеобразно поняли безсиліе адвоката. «Видно *нечего* ему сказать за подсудимаго».

Послѣднее слово Курчаева могло-бы произвѣсти впечатлѣніе, но прокуроръ предостерегалъ въ своей рѣчи отъ довѣрія къ фразамъ... Онъ говорилъ, что готовъ бороться и даже уступить на почвѣ *факта*, но *словамъ*—не придаетъ значенія и глубоко вѣрится въ здравый смыслъ русскаго человѣка.

И такъ, довѣріе къ послѣднему слову подсудимаго было подорвано прежде, чѣмъ Курчаевъ имѣлъ право вымолвить его.

Этой оплошности, вызванной, впрочемъ, искреннимъ убѣжденіемъ, Алексѣй Петровичъ не могъ простить себѣ. Онъ ходилъ по кабинету взадъ и впередъ, стиснувъ руки и все старался понять: виновать Курчаевъ или не виновать.

Улики были неотразимы, правда, но въ своемъ послѣднемъ словѣ Курчаевъ намекнулъ на одно обстоятельство, оставшееся невыясненнымъ, благодаря небрежности защитника.

Подсудимый упомянулъ о племянникѣ княгини, пріѣзжавшемъ тайкомъ и жившемъ безъ прописки дня два...

«Правду онъ сказалъ или солгалъ?» съ отчаяніемъ спрашивалъ себя Казанскій, ломая руки.— Просто съ ума сойти можно! А если правду? Если здѣсь является сдѣланные ошибки, недоразумѣній? Защитникъ проворонилъ, а я... я былъ слишкомъ предусмотрителенъ... Въ результатѣ— гибель невиннаго. А какъ *онъ* взглянулъ на меня! *Какъ* взглянулъ! Нѣтъ, воръ... виновный такъ смотрѣть не можетъ!»

Присяжные вынесли обвинительный вердиктъ... Даже снисхожденія не дали. Они повѣрили доводамъ прокурора и, не мудрствуя, повторили его совѣтъ. Вредный членъ общества... Дурная трава изъ поля вонь...

И опять Казанскому припомнился взглядъ Курчаева, пристальный и спокойный, отчасти негодующій, точно подсудимый хотѣлъ понять, кто находится передъ нимъ: искренно ошибающійся или завѣдомо пристрастный...

— Алексѣй Петровичъ, къ вамъ жена арестанта пришла. Очень проситъ видѣть васъ,—доложила горничная чуть-чуть пріотворяя дверь.

— Кто? Какъ зовутъ?

— Курчаева, кажется. Сегодня только, говорить, порѣшилъ ли ея мужа.

— А, хорошо. Пусть войдетъ.

Алексѣй Петровичъ смутился и даже пожалѣлъ, зачемъ согласился принять жену осужденнаго. Онъ зналъ по опыту, что ему придется выдержать мучительную сцену слезъ и рыданій,

жалобъ и просьбъ, испытывая тягостное положеніе человѣка, который *не можетъ* сдѣлать ни льготы, ни облегченія, не нарушая закона.

Въ кабинетъ Казанскаго вошла немолодая, блѣдная, худощавая женщина, очень бѣдно но чисто одѣтая, съ выплѣтшими отъ слезъ глазами и покорно сжатыми губами. Она низко поклонилась товарищу прокурора и стала у дверей, не смѣя заговорить.

— Госпожа Курчаева?... Садитесь пожалуйста. Чѣмъ могу быть вамъ полезенъ?—Спросилъ Алексѣй Петровичъ такимъ добродушнымъ и ласковымъ тономъ, что бѣдная женщина съ изумленіемъ взглянула на него.

— Благодарю васъ... *Очень* вамъ благодарна... Очень... Я насчетъ свиданія съ мужемъ... Была больна... А потомъ... Не дозволяли... Теперь мнѣ сказали—можно.

— Да, теперь можно... машинально повторилъ Казанскій.

Глаза Алексѣя Петровича и Курчаевой встрѣтились. Оба они понимали печальный смыслъ этого «можно» и оба опустили головы...

Въ качествѣ осужденнаго, Курчаевъ получалъ извѣстныя права. Его не подвергали одиночному заключенію, не лишали свиданій. Въ общемъ, конечно, его положеніе становилось хуже, но въ частностяхъ—легче и пріятнѣе.

— И сегодня можно, господинъ прокуроръ?—торопливо спросила Курчаева.

Алексѣй Петровичъ вынулъ часы и взглянулъ на нихъ.

— Къ сожалѣнію нѣтъ... Теперь ужъ поздно. Отчего вы не заявили по окончаніи дѣла?

— Я не была въ судѣ... Не могла... Такъ до завтра значить?

— Да ужъ до завтра, нечего дѣлать... А вы не были, говорите, въ судѣ?

— Не могла,—также коротко отвѣчала Курчаева, и Алексѣй Петровичъ понялъ, что не отсутствіе времени и вообще не физическія причины помѣшали ей. Она *не могла* быть въ силу душевныхъ ощущеній.

— Вы кажется отказались быть свидѣтельницей?

— Я ничего не знаю, господинъ прокуроръ.

Наступило молчаніе. Курчаева ощущала неловкость, а Алексѣй Петровичъ горячо сожалѣлъ о своемъ официальном положеніи, мѣщаясь отъ откровенной бесѣды.

— Такъ значить завтра?—произнесла просительница, вставая съ кресла.

— Да, пропустъ я вамъ дамъ сейчасъ. Потрудитесь подождать.

Курчаева снова опустилась въ кресло. Казанскій началъ подписывать билетъ. Желаніе задать Курчаевой нѣсколько вопросовъ боролось въ душѣ прокурора съ сознаниемъ незаконности такого поступка.

— Вашъ мужъ вызывалъ одного свидѣтеля, Прохорова кажется, — началъ Алексѣй Петровичъ, но тотъ не явился. Скажите, это важный свидѣтель? Онъ могъ сказать что-нибудь въ пользу вашего мужа, да?

Курчаева колебалась отвѣтомъ.

Прокуроръ понималъ мотивы ея смущенія. Она не довѣряла ему...

— Вы можете не отвѣчать: это ваше право. Я спрашиваю, какъ частный человѣкъ, — небрежно пояснилъ онъ.

— Прохоровъ! Да если-бы Прохоровъ сказалъ правду, развѣ мой Николай Ивановичъ сидѣлъ-бы тамъ? Господи! Не смѣетъ онъ... Запрещено... Богъ съ ними! Богъ все видитъ... Правду ногами не затопчешь.

Казанскій былъ пораженъ и не рѣшался вѣрить словамъ Курчаевой.

— Отчего же вы слѣдовательно не сказали?

— Говорили... Не повѣрилъ... Думалъ, что мы солгали... Другихъ опутать хотимъ.

— Надо было ко мнѣ въ камеру явиться, заявить, — рѣзко вымолвилъ Казанскій.

— Ахъ, господинъ прокуроръ! Да если-бы люди всѣ были такіе правдивые какъ вы и такъ снисходительно относились, такъ не засудили-бы. Такого-ли онъ человѣкъ, чтобы красть. Неужели вора отъ несчастнаго отличить нельзя? Богъ съ ними! И въ Сибири люди живутъ... Будемъ вмѣстѣ...

Курчаева кланялась и благодарила. Ей была дорога возможность высказаться передъ такимъ «важнымъ чиновникомъ» и, не зная законовъ, она думала въ простотѣ души, что онъ можетъ облегчить судьбу Николая.

Послѣ ухода Курчаевой, Алексѣй Петровичъ бросился на диванъ ничкомъ и долго пролежалъ безъ движенія.

«И она-же меня благодарить! Она-же меня снисходительнымъ называетъ!» съ безысходною горечью и тоскою думалъ Казанскій.

III.

Алексѣй Петровичъ скрылъ отъ жены причину своихъ терзаній и, ссылаясь на усталость и головную боль, не выходилъ изъ кабинета.

Онъ мысленно возстановлялъ все теченіе процесса и теперь для него становилось яснымъ, что въ дѣлѣ Курчаева, *могла* произойти самая ужасная изъ ошибокъ — «судебная ошибка».

Защитникъ не позаботился просмотрѣть дѣла и повидаться съ подсудимымъ, а Казанскій слишкомъ довѣрился судебному слѣдствію и, принимая отрицанія Курчаева, какъ нахальное и упорное заpiresательство, съумѣлъ, силою краснорѣчія, передать свою увѣренность представителямъ общественной совѣсти.

Послѣ вердикта присяжныхъ и рѣшающаго слова суда не было средства облегчить судьбу осужденнаго. Можно, конечно кассировать, но найдутся-ли поводы? Захочетъ-ли защитникъ Курчаева продолжать это дѣло?..

Казанскій провелъ мучительную, бессонную ночь.

У него не было явныхъ доказательствъ невиновности Курчаева, но не было и увѣренности, что осужденный виноватъ.

Много разъ приходилось Алексѣю Петровичу выступать обвинителемъ въ разныхъ дѣлахъ, проигрывать и выигрывать ихъ, видѣть, какъ подсудимый, котораго онъ только-что обличалъ въ гнусномъ преступленіи, выходилъ оправданный и ликующій; приходилось слышать мрачные приговоры: «каторга», «сибирь», «арестантскія роты»,—но никогда еще онъ такъ не волновался, не страдалъ.

И все это надѣлало послѣднее слово Курчаева.

Картина, нарисованная подсудимымъ, мотивы, которыми онъ объяснялъ взведенное на него обвиненіе, отдѣльные эпизоды, приведенные имъ,— все дышало правдою, но по роковой случайности объясненія Курчаева прошли почти незамѣченными. Одни очень устали и торопились домой; другіе такъ извѣрились въ искренность «арестанта», что насмѣшливо улыбались и пожимали плечами; третьи—большинство—убѣдившись логичностью прокурора и, не встрѣтивъ въ защитникѣ

достойнаго оппонента, удивлялись: «зачѣмъ это подсудимый говоритъ такъ много?.. Все ясно!..»

Едва дождавшись утра, Казанскій раньше обыкновеннаго уѣхалъ въ судъ, въ свою камеру, гдѣ онъ могъ скрыться отъ нѣжно-пытливаго взора жены, отъ шумной веселости и поцѣлуевъ сынишки. Пользоваться радостями бытія, наслаждаться счастьемъ семейной жизни, когда въ душѣ все сильнѣй и громче раздавались укоры совѣсти, Казанскій не могъ...

Онъ питалъ смутную надежду на кассированіе дѣла и даже нашелъ «поводъ» въ допущеніи процессуальной ошибки.

Около двухъ часовъ Алексѣй Петровичъ спустился въ «низокъ», такъ называемый судейскій буфетъ, помѣщавшійся въ подвальномъ этажѣ.

Еще издали Казанскій услышалъ громкіе голоса, смѣхъ, шелканье пробокъ и звонъ стакановъ. Клубы табачнаго дыма стояли въ воздухѣ и вошедшій не безъ усилія могъ различить, гдѣ находился вчерашній защитникъ Курчаева.

При появленіи Казанскаго тотъ что-то рассказывалъ группѣ товарищей, пріютившихся за столикомъ, на которомъ высилась батарея пивныхъ бутылокъ. Бесѣда казалась крайне оживленной и интересной.

«Вѣроятно о вчерашнемъ процессѣ», съ тревогой и радостью подумалъ Казанскій, на ходу здороваясь со знакомыми и обмѣниваясь бѣглыми фразами.

Пожавъ руку вчерашняго противника, Алексѣй Петровичъ остановился у столика. Всѣ собесѣдники адвоката оказались знакомыми и разговоръ перешель на злобу дня. Толковали о грядущемъ скандальномъ дѣлѣ и, захлебываясь отъ зависти, передавали, сколько «сорвалъ» съ подсудимаго тотъ или другой «тузь» адвокатуры.

— Васъ съ побѣдой можно поздравить, Алексѣй Петровичъ, — льстиво замѣтилъ юный помощникъ, безцвѣтный и физически, и умственно, а потому особенно самодовольный.

Казанскій нахмурился и отвернулся.

Похвала, обращенная къ прокурору, задѣла защитника.

— А вчера, батенька, дѣло-то вы фуксомъ выиграли, ей-ей! — развязно заявилъ онъ Казанскому. — Я, собственно, — продолжалъ онъ, кивая головой товарищамъ — не успѣлъ прочитать дѣла. Собирался зайти къ подсудимому въ тюрьму — не попалъ. Хлопотъ по горло! Графиня спектакль затѣяла, Ольга Андреевна выбрала меня помощникомъ — ассистентомъ при базарѣ, а тутъ еще...

— Вотъ они, тернии славы!

— Оборотная сторона извѣстности! Нашъ Вертуновъ на расхватъ! острили приятели.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, — продолжалъ тотъ, обращаясь къ Казанскому. — Я хотѣлъ сорвать засѣданіе, да подсудимый закапризничалъ. Пусть идетъ дѣло, говоритъ, да и кончено! На оправданіе надѣялся! Составъ присяжныхъ — ужасный!

Тамъ сидѣли двое: Б. и Л. Это — звѣри, батенька... Они бы и насъ съ вами закатали! Съ наслажденіемъ закатали-бы!

— Но вы какъ... вы... считаете Курчаева виноватымъ? — осторожно, словно боясь обнаружить свои думы, спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— А Христосъ его вѣдаетъ. Я вѣдь случайно попалъ... Назначенъ защитникомъ былъ Никонцовъ, а накануне меня упростили замѣнить его.

— Но все таки ваше мнѣніе... Ну... изъ судебного слѣдствія... Наконецъ... послѣднее слово...

— Право не знаю! Я такъ усталъ вчера, такъ былъ измученъ... И знаете: надо говорить рѣчь, а меня ко сну клонить... А слышали вы, Алексѣй Петровичъ, какой скандалъ произошелъ въ клубѣ?

Казанскій не выдержалъ.

— Мнѣ кажется, Курчаевъ не виноватъ, — рѣшительно вымолвилъ онъ.

Всѣ засмѣялись и начали выражать удивленіе.

— Хорошо! А самъ обвинялъ!

— Еще какъ краснорѣчиво!

— И рѣчь была горячая... Вы чудесно комбинировали улики.

Алексѣй Петровичъ невыразимо страдалъ отъ этихъ дружныхъ похвалъ, имѣвшихъ въ его глазахъ отрицательное значеніе. Когда смолкли восклицанія и потокъ дешеваго остроумія прекратился, онъ замѣтилъ сдержаннымъ тономъ:

— На меня произвело большое впечатлѣніе послѣднее слово Курчаева. Въ дѣлѣ существуетъ серьезная ошибка.. Оплотность, слѣдователя прошла незамѣченной, а между тѣмъ, мнѣ кажется, истинный виновникъ ускользнулъ... Курчаевъ— жертва недоразумѣнія...

Кружокъ адвокатовъ внимательно выслушалъ объясненія Казанскаго. Одни относились серьезно, другіе, какъ водится, видѣли въ этомъ эпизодѣ только смѣшную сторону и готовились рассказать подходящій анекдотъ.

— Будете кассировать? — тревожно спросилъ Алексѣй Петровичъ Вертунова и добавилъ, понижая голосъ:—необходимо!

— Не стоитъ! Во-первыхъ повода нѣтъ въскаго, а во-вторыхъ... чай, знаете, какая теперь тенденція: обвиненъ — не кассировать, оправданъ—другое дѣло.

— Не будете?—переспросилъ Казанскій, чувствуя, какъ въ душѣ его умираетъ послѣдняя надежда.

— Да и самъ Курчаевъ не хочетъ,—заклучилъ Вертуновъ.—Сейчасъ жена его ко мнѣ приходила. Не желаетъ! Такая судьба, говорить. Неудачно сложилось все дѣло, надо отдать справедливость! Теперь оказывается, что у Курчаева были очень и очень важные свидѣтели, но онъ не хотѣлъ ихъ беспокоить. Думалъ и такъ оправдаютъ. Да, неудачное это дѣло!

Казанскій, почти шатаясь, вышелъ изъ буфета.

Въ тотъ-же день онъ провелъ съ глазу на глазъ съ Курчаевымъ болѣе двухъ часовъ, постилъ жену осужденнаго, видѣлъ «чистую» бѣдность ихъ обстановки, опрятныя лохмотья блѣдныхъ и истощенныхъ дѣтей, услышалъ трогательный и глубоко правдивый рассказъ несчастнаго и вернулся домой съ облегченной душою.

Теперь онъ могъ все передать Вѣрочкѣ и молодая женщина внимала ему со слезами на глазахъ.

— Дорогая моя, заключилъ Казанскій, обнимая жену.—Это дѣло явилось послѣдней каплей. Я не могу больше быть обвинителемъ... Завтра я подаю прошеніе объ отставкѣ и дѣлаюсь защитникомъ. Мое первое дѣло... знаешь, Вѣрочка, какое будетъ мое первое дѣло?

— Угадываю, милый. Ты станешь защищать Курчаева?! Кассируютъ-ли только?

— О, конечно, конечно!.. Да, голубка моя,— добавилъ Казанскій послѣ недолгаго молчанія.— Дѣятельность обвинителя высока и почтенна, но я никогда не простилъ-бы себѣ отсутствія чуткости и, главное, предвзятости мнѣнія, едва не погубившаго невиннаго человѣка. Нѣтъ, лучше призывать слово милосердія, чѣмъ требовать кары наказанія, когда чужая душа является загадкой...

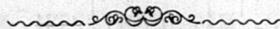
.....
Дѣло Курчаева было кассировано и Алексѣй Петровичъ съ большимъ успѣхомъ выступилъ на

поприще адвокатуры. Прежніе сослуживцы и недавніе противники, ставшіе товарищами, въ тихомолку называютъ его «сумой переметною», но Казанскій не смущается.

Выше всего онъ цѣнитъ миръ душевный и нравственную свободу.

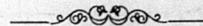
Курчаева оправдали, такъ какъ истинный виновникъ обличилъ себя, шумно прокучивая «легкія деньги» и наслаждаясь безнаказанностью. Роли перемѣнились. Курчаевъ зналъ, кто могъ украсть драгоценности княгини Энской, но молчалъ, вѣруя, что правда восторжествуетъ. Очувтившись на скамьѣ подсудимыхъ, испорченный повѣса клеветалъ на всѣхъ, но фортуна перестала дарить ему свои улыбки...

Курчаевъ вышелъ изъ суда съ гордо поднятой головой, но онъ не испытывалъ такого жгучаго, блаженнаго счастья, которое ощущалъ Алексѣй Петровичъ.



П Р А К Т И К Ъ.

(Разказъ).



На крутомъ берегу, острымъ угломъ выдающимся надъ бушующей поверхностью Чернаго моря, сидѣла молодая парочка.

Это были: дѣвушка лѣтъ двадцати, очень мило одѣтая и молодой человекъ въ коломанковой блузѣ, съ длинными волосами, небрежно падавшими на его плечи, въ мягкой фетровой шляпѣ, почти скрывавшей его лице.

Возлѣ дружно бесѣдовавшей парочки на салфеткѣ былъ розложенъ скромный завтракъ, состоящій изъ холоднаго мяса, сыра, бѣлаго хлѣба и бутылки молока. Нѣсколько дальше стоялъ походный мольберъ и на немъ полотно съ начатой картиной: изображеніе морскаго вида съ затонувшимъ пароходомъ, отъ котораго сиротливо торчала только бѣлая труба. Ящикъ съ красками, палитра, кисти и зонтикъ — были брошены тутъ же, на выгорѣвшей отъ солнца травѣ.

Поднявшійся вѣтеръ, нарушилъ величавый покой моря и синезеленныя волны съ глухимъ рокотомъ бились о подножіе скалы. Работать молодому художнику становилось невозможно, такъ какъ онъ хотѣлъ изобразить затишье, а бѣлые

«зайчики» становились все замѣтнѣе и превращались въ сѣдые, могучіе валы.

— Отчего ты ничего не кушаешь, Маня? — сказалъ художникъ, прерывая молчаніе, начавшееся вслѣдъ за его сообщеніемъ, что отецъ наотрѣзъ отказалъ дать согласіе на ихъ бракъ, — послушай, милая моя, ты устала, я думаю?

— Нѣтъ, не устала. Я доѣхала до фонтана, а здѣсь не далеко. Ахъ, Викторъ, не могу я!... Значить, ты уѣзжаешь? *Онъ* хочетъ, чтобы ты уѣхалъ изъ Одессы?

— Надо, Маня.

— Надо?! Полно пожалуйста! Это просто капризъ, прихоть... Твой отецъ не любитъ моего и вотъ почему мы должны быть несчастны! Точно нельзя тебѣ работать здѣсь!

— Маня, голубка моя, — заговорилъ Викторъ съ безграничною нѣжностью, сжимая руку дѣвушки, — взгляни на дѣло иначе и ты все поймешь. Мой отецъ... Ты знаешь какъ онъ бѣденъ...

— Что же изъ этого? Никто и не рассчитываетъ на его средства.

— Маня, ты обѣщала меня выслушать!

— Да, да, я буду слушать, я не стану перебивать, только... Ну, подумай самъ: у меня, *лично у меня*, есть состояніе, котораго намъ за глаза хватить. Это не папины деньги, нѣтъ, эти тридцать тысячъ выручены отъ продажи маминаго имѣнія. Я давно это хотѣла сказать,

потому что ты... твой отецъ, — поправила дѣвушка, — съ презрѣніемъ относится къ богатству, нажитому подрадами...

— Маня, Маня! Опять!.. — протянула молодой художникъ, хватаясь за голову.

Но дѣвушка была слишкомъ взволнована, чтобы повиноваться голосу любимаго человѣка. Въ душѣ ея столько наболѣло и накипѣло за послѣднее время, что она не могла болѣе молчать. Для того и пришла она сегодня на берегъ моря, чтобы съ глазу на глазъ повидаться съ Викторомъ, переговорить съ нимъ и задать рѣшительный вопросъ: кто ему дороже, отецъ или она, его невѣста, подруга дѣтства, безгранично любящее, преданное существо?

— Если твой отецъ такъ несправедливо относится къ намъ, — продолжала Маня, сверкая красивыми черными глазами, — то зачѣмъ же раньше онъ снисходительно... нѣтъ, ласково, любовно обращался со мною? Зачѣмъ онъ позволялъ намъ расти и играть вмѣстѣ! Зачѣмъ позволялъ тебѣ ходить къ намъ? Я помню, каждую субботу, приѣзжая изъ пансіона, я *знала*, что ты будешь у насъ! Я знала, что цѣлое воскресенье мы будемъ вмѣстѣ! А лѣтомъ... Ты проводилъ у насъ все каникулы и... онъ ничего не говорилъ! А теперь, когда мы стали большіе, когда мы полюбили другъ друга, обѣщались быть вѣрными на всю жизнь, ему хочется разлучить насъ.

— Маня!

— Онъ злой! Онъ злой человѣкъ! Онъ тебя не любитъ! Эгоистъ онъ!

Дѣвушка тихо заплакала и опустившись на траву, прижала платокъ къ раскраснѣвшемуся, взволнованному лицу.

Викторъ глядѣлъ на нее съ грустью и съ сочувствіемъ. Онъ не зналъ, какъ успокоить ее, какъ умѣрить ея справедливое негодованіе, но въ то же время понималъ, что сказать правду нѣтъ возможности.

Имѣлъ-ли онъ право объяснить любимой и милой дѣвушкѣ, что ея отецъ дѣйствительно не стоитъ уваженія, что его продѣлки въ торговомъ мірѣ, хотя и прикрываемыя довольно умѣло, обнаружили за послѣднее время и заставили отшатнуться тѣхъ людей, которые ставили честь и правду выше богатства.

— Маня, милая моя, успокойся!—началь молодой художникъ.—Выслушай меня. Ты знаешь, что мой отецъ бѣденъ. Всю свою молодость, всѣ свои силы онъ отдалъ семьѣ... Учитель рисованія въ нѣсколькихъ школахъ!... О, дорогая, да есть ли горше хлѣбъ?! А между тѣмъ у отца былъ недюжинный талантъ. Его сгубила ранняя женитба, а потомъ громадная семья и ежегодно увеличивающіяся потребности. Ты сама знаешь, Маня, какъ онъ заботился о нашемъ образованіи. Старшій братъ умеръ въ чахоткѣ—отецъ перенесъ всѣ надежды на меня. Онъ меч-

таетъ, бѣдняга, что изъ меня что то выйдетъ... Родительское самолюбіе!—съ горькой нѣжностью произнесъ Викторъ и печально покачалъ головой.

— Эта вѣра увлекла отца,—продолжалъ молодой человѣкъ,—ему показалось, что надъ нашей семьей блеснула звѣздочка и вотъ онъ теперь не можетъ отказаться отъ своихъ надеждъ и плановъ. Подумай, Маня, дома, кромѣ матери, пятеро дѣтей... Всѣ они еще не скоро встанутъ на ноги, а силы отца не очень то крѣпки... Понятно, онъ смотритъ на меня какъ на помощника. Если бы отецъ согласился на нашъ бракъ, это значило бы, что онъ поставилъ крестъ надъ мною. Въ его глазахъ я сталъ бы отрѣзаннымъ ломтемъ.

— Странный взглядъ!—пылко возразила Маня. — Напротивъ того, ты бы сталъ еще болѣе полезенъ. Если бы мы женились, можно бы взять къ намъ двухъ дѣвочекъ, твоихъ сестеръ.

— Отецъ не отдастъ.

— Ну, хорошо, положимъ, не отдастъ. Но ты могъ бы помогать своей семьѣ. Надѣюсь, мои и твои деньги—одно и тоже.

— Отецъ не возьметъ ни копѣйки!—твердо и увѣренно произнесъ Викторъ.—Знаю я его хорошо. Если я принесу ему *заработанный* рубль онъ радостно, съ гордостью приметъ его, а такія, легкія деньги—ни за что!

— Боже мой!—воскликнула Маня, всплеснув руками.—Вѣдь такъ же жить нельзя! Надѣлали себѣ люди разныхъ перегородецъ, создали какіе-то удивительные законы и выходятъ: того нельзя, другаго нельзя! Можно только дѣлать людей несчастными!

Викторъ молчалъ. Онъ залюбовался красотой моря и прислушивался къ плеску волнъ, разбиравшихся о подножіе скалы.

— Отчего же другіе? У другихъ все хорошо?—спрашивала Маня.—Вотъ Сашенька, напримѣръ, вышла замужъ за бѣднаго человѣка и вся его семья живетъ у нея и какъ ее любятъ, уважаютъ, стараются угодить. А тутъ... Я имѣю право распоряжаться своими деньгами. Я прошу тебя, устрой своихъ, помоги имъ и уѣдемъ за границу... Нѣтъ и нѣтъ! А между тѣмъ ты меня любишь... Вика, скажи, любишь?

Въ голосѣ дѣвушки звучали капризные нотки. Она дѣйствительно не понимала, что мѣшаетъ ихъ счастью и раздражалась сознаниемъ этой невидимой, но могучей преграды.

— Конечно, люблю! Ахъ, Маня, еслибъ не любилъ, мнѣ было бы въ тысячу разъ легче... Я не страдалъ бы такъ.

Эта неосторожная, но искренно выраженная фраза дала новый толчекъ для влюбленной дѣвушки. Маня поняла свою власть.

То, чего она не могла достигнуть силою убѣжденія—она возьметъ кокетствомъ, ласковостью, любовными упреками.

— Любишь?—съ усмѣшкою повторила она.— Нѣтъ, Вика, кто любить, тотъ не способенъ такъ холодно разсуждать, взвѣшивать, соображать. Я тебѣ говорила: женюсь и уѣдемъ вмѣстѣ. Ты совершеннолѣтній; мой отецъ мѣшать не станетъ. Твой посердится и проститъ.

— Маня, голубка моя, ты жестоко со мной поступаешь! Ты не хочешь понять, что я не принадлежу себѣ. Подумай: сколько лѣтъ упорнаго труда истратилъ на меня отецъ, какъ онъ бѣдствовалъ, какъ нуждался, какія переносилъ лишенія, ради того, чтобы дать мнѣ образованіе, сдѣлать изъ меня художника... И вдругъ, когда черезъ годъ, два я могу *нравственно* отплатить ему, когда успѣхъ моей картины можетъ вознаградить его за всѣ жертвы—я... Я увлекусь личнымъ счастьемъ... Нѣтъ, это безчестно!

— Точно нельзя работать, если ты женишься!

— Нѣтъ, нельзя, Маня! Явится двойственность, новые интересы, заботы. Нѣтъ, отецъ правъ! Искусство требуетъ *всего* человѣка. Онъ на себѣ испыталъ правдивость этого положенія и повторяетъ его печальную судьбу—я не хочу!

Мучительная досада овладѣла дѣвушкой. Она ревновала любимаго человѣка и къ искусству и къ семьѣ. Она сердилась на его разсудительность, на то спокойствіе, съ которымъ онъ возражалъ ей, не понимая его душевныхъ страданій, его тяжелой борьбы.

— Какой ты... практикъ! Какой ты холодный... бездушный человѣкъ! — вырвалось у нея съ необычнымъ раздраженіемъ.

Викторъ почти не слыхалъ ея словъ. Его вниманіе было привлечено маленькой рыбацкой лодкой, которую бросало какъ щепку. Какая-то бѣлая фигура стояла посрединѣ лодки и схватившись за уключину, жалобнымъ, отчаяннымъ голосомъ звала на помощь.

— Спасите! Спасите! — раздалось еще разъ.

Молодой художникъ сбросилъ шляпу, подтянулъ покрѣпче поясъ и въ одно мгновеніе сбѣжалъ, почти скатился, съ крутаго берега внизъ, гдѣ яростно рокотали потемнѣвшія волны.

Маня бросилась за Викторомъ и остановилась на краю скалы, прижимая руки къ груди. Она видѣла, что тотъ, кого она только что назвала практикомъ и бездушнымъ человѣкомъ, не щадилъ своей жизни во имя ближняго.

— Викторъ, Викторъ, вернись! — кричала дѣвушка, но вѣтеръ относилъ ея слова, да молодой художникъ и не послушался бы ея совѣта.

На его глазахъ погибалъ человѣкъ...

Бѣшеный порывъ вѣтра опрокинулъ лодку и бѣлая фигура исчезла въ волнахъ.

Викторъ бросился въ море и поплылъ, то ныряя, то крича несчастному слова ободренія:

— Держись! Мужайся! Держись за лодку!

Бѣлая фигура на мгновеніе показалась на поверхности воды и машинально, широко раскиды-

вая руки, стремилась найти точку опоры. Можетъ быть она слышала совѣтъ смѣльчака, ринувшагося ей на помощь, можетъ быть смутно помнила, что гдѣ-то здѣсь вблизи находится лодка...

— Спасите! — раздался снова еще болѣе жалобный, за сердце хватающій вопль. — Ребенокъ... Дѣточка!..

Маня замерла на мѣстѣ. Она не спускала глазъ съ той точки, гдѣ секунду назадъ въ послѣдній разъ мелькнула голова Виктора. Каждое мгновеніе казалось ей чѣмъ-то безконечнымъ. Сердце перестало биться и дыханіе стѣснилось въ груди.

— Держись! держись! — снова крикнулъ художникъ и Маня видѣла, какъ рука Виктора схватила за волосы бѣлую фигуру, какъ онъ поплылъ къ берегу, увлекая за собой спасенное существо.

Сѣдые, разъяренные валы хлестали въ грудь смѣльчака; они обливали бѣлой пѣной его лицо, они слѣпили зрѣніе, мѣшая смотрѣть впередъ, но Викторъ энергично боролся съ могучей стихіей.

Это ужасное состязаніе человѣка-пигмея съ моремъ-великаномъ производило потрясающее впечатлѣніе.

Маня опустила на колѣни и поднявъ руки къ небу молилась безъ словъ, съ горячими слезами, струившимися по ея поблѣднѣвшему лицу.

Сколько прошло времени — дѣвушка не знала и не помнила. Она видѣла, что Викторъ благо-

получно добрался до берега и, что бѣлая фигура, женщина съ распущенными волосами, оказалась жива. Восторженная, невообразимая радость переполнила душу Мани. Она плакала отъ счастья, отъ горделиваго блаженства, отъ высокаго умиленія передъ подвигомъ любимаго человѣка.

Она стояла на самомъ краю обрыва, склонившись внизъ всей фигурой и, незримая, слѣдила какъ Викторъ, забывая о собственной опасности, приводилъ въ чувство спасенную имъ женщину.

Еще нѣсколько мгновений и онъ вернется къ ней, къ своей невѣстѣ... Онъ, герой, смѣльчакъ, онъ, человѣкъ, жертвующій своею жизнью ради ближняго! О, какъ она любить его, какъ глубоко понимаетъ его душу!

— Ребенокъ! Тамъ! Въ лодкѣ! Моя дочь! — страшный нечеловѣческій крикъ вырвался изъ груди матери, едва только она пришла въ себя, едва сознала весь ужасъ случившагося.

— Спасите ее! спасите, — умоляю! рыдала бѣдная женщина, обнимая колѣни Виктора.

Молодой человѣкъ отлично понималъ, что ребенокъ погибъ. Онъ остался въ лодкѣ, подхваченной волнами и унесенной въ море. Ни малѣйшей надежды на его спасеніе не существовало, но кто же рѣшился бы вымолвить это жестокое слово несчастной матери?...

— Викторъ, Вика! Милый! О, что ты хочешь дѣлать! — съ отчаяніемъ кричала Маня, угадывая геройское намѣреніе своего жениха. — Вѣдь это безуміе опять рисковать... напрасно...

Молодой художникъ остановился на мгновение. Онъ взглянулъ на рыдающую у его ногъ несчастную мать, взглянулъ на прелестную, гордую дѣвушку, призывавшую его къ жизни и вдругъ съ безопадной ясностью вспомнились ему слова Мани: «какой ты практикъ... какой ты холодный... бездушный человѣкъ!»

Викторъ быстро и широко перекрестился, крикнулъ что то и снова бросился въ море.

«Прощай», или «я—практикъ!» — что именно крикнулъ художникъ, Маня не поняла... Она безъ чувствъ упала на выжженную побурѣвшую траву и ничто послѣдующее для нея не существовало...

Только черезъ три дня выбросило море трупъ побѣжденнаго борца, «практика», такъ серьезно и дѣловито разсуждавшаго о своихъ обязанностяхъ къ отцу, къ семьѣ... Любовь къ ближнему заслонила всѣ принципы, привитые воспитаніемъ и побѣдила даже жажду личнаго счастья.

Бѣлый мраморный крестъ до сихъ поръ виднѣется на берегу возлѣ того мѣста, гдѣ погибъ талантливый молодой художникъ.

То ласкающія и нѣжныя, то бурно шумливыя волны Чернаго моря вѣчно плещутъ вокругъ памятника, поставленнаго бѣдной Маней и кружевная пѣна какъ таинственное покрывало иногда нависаетъ надъ крестомъ, придавая ему фантастическое очертаніе.

Часто приходитъ сюда одинокая, грустная дѣвушка въ глубокомъ траурѣ, съ мягкимъ и ласковымъ выраженіемъ прекрасныхъ глазъ. Она приноситъ цвѣты, собранные въ роскошныхъ лугахъ благословеннаго юга; она приходитъ выплакать свое горе и удаляется съ возродившимся мужествомъ и энергіей.

Геройская смерть любимаго человѣка явилась воспитательнымъ примѣромъ для молодой дѣвушки.

Она поняла, что кромѣ личнаго счастья есть общее и несетъ свою лепту на пользу ближняго.



ЖЕНИЛИСЬ!

(Разсказъ.).



— **Н**ѣтъ, нѣтъ, я тебя не отпущу, говорилъ мнѣ мой пріятель и однокашникъ Комарскій, встрѣтившійся со мною послѣ долгой разлуки. — Поѣдемъ ко мнѣ обѣдать, а вечеромъ за городъ...

Побесѣдовать со старымъ другомъ было мнѣ весьма пріятно, но я вспомнилъ мѣщанскій строй жизни Комарскаго, возмущавшій меня во время на студенчества, и сдѣлалъ слабую попытку отказать.

— Не лучше-ли отправиться пообѣдать за-городъ? На свѣжемъ воздухѣ? А?

— Невозможно! серьезно возразилъ Комарскій, чистенькій и франтовато одѣтый молодой человекъ, въ новенькомъ пальто, въ цилиндрѣ и съ портфелемъ подъ мышкою. — Меня ждуть дома, а я, братъ, по прежнему выше всего цѣню аккуратность. Ѣдемъ, Иванъ Николаевичъ!

Я покорился. Дорогою Комарскій сообщилъ, что живетъ не съ родителями, а въ отдельной квартирѣ и познакомить меня со своею... кузи-

ною, прекрасною молодою женщиною, которую онъ очень любить и уважаетъ.

Въ то время, — это было лѣтъ двадцать тому назадъ, — установилась странная мода: если человѣкъ, въ силу нѣкоторыхъ условій, не могъ жениться, то выдавалъ близкую ему женщину за кузину, и конечно, ставилъ и ее, и себя въ крайне неудобное, тягостное положеніе.

— Развѣ ты живешь теперь съ кузиною? переспросилъ я, удивляясь, что никогда прежде, въ годы близости съ Комарскимъ, не слыхалъ о существованіи Маруси.

— Да! Да! Кузина! Была, есть и будетъ, раздражаясь отвѣчала Комарскій. — Полиберальничалъ я довольно! Никому до меня нѣтъ дѣла. Живу какъ хочу!

Пролетка, на которой мы ѣхали, оглушительно дребезжала по выбитой мостовой одной изъ улицъ Петербургской стороны, и я могъ уловить только часть разсказа пріятеля. Онъ нахолился въ возбужденномъ состояніи, и я не хотѣлъ ни спрашивать, ни возражать.

— Жениться? Понятно, съ удовольствіемъ, но у меня нѣтъ средствъ... Что-же дѣлать! Подождемъ. Получу другое мѣсто, тогда, конечно, немедленно. Я понимаю, говорилъ онъ, — ты осуждаешь, зачѣмъ я выдаю Марусю за кузину? А какъ же поступать прикажешь? Сталъ я было рекомендовать ее какъ жену, такъ неприятности дьявольскія выходили. Супруга начальника мнѣ

такую сцену устроила, что бѣда... Какъ вы, говорить, смѣете мнѣ подобную особу... Дуры эдакія. Маруся—особа! Да это—сокровище!

— Но ей-то должно быть очень и очень тягостно такое положеніе. Вѣдь въ глазахъ общества все падаетъ на женщину, замѣтилъ я, проникаясь искреннею симпатіею къ бѣдной Марусѣ, о которой мой собесѣдникъ говорилъ съ полнымъ уваженіемъ.

Комарскій насупился, пожалъ плечами и перемѣнилъ разговоръ.

II.

Марья Ильинишна произвела на меня самое симпатичное впечатлѣніе.

Небольшаго роста, худенькая блондинка, съ мягкимъ и нѣжнымъ выраженіемъ голубыхъ глазъ, она казалась воплощеніемъ любви, но не той шумливой, властительной любви, которую проявляютъ законныя жены. Нѣтъ, скромная и застѣнчивая, она словно боялась обличить свое положеніе нелегальной подруги и держалась въ рамкахъ родственницы или приживалки, занимающейся хозяйствомъ.

Комарскій и Маруся говорили другъ другу то «вы», то «ты», очевидно смущаясь, благодаря моему присутствію, и мнѣ было крайне досадно за полу-откровенность пріятеля.

Онъ не долженъ былъ посвящать меня въ свою тайну, или наоборотъ, сдѣлать повѣреннымъ, а то я улавливалъ такіе смущенные и жалобные взгляды Маруси, что мнѣ становилось неловко и совѣстно.

Обѣдъ еще не окончился, когда въ передней раздался звонокъ, и въ столовую вбѣжала служанка, говоря:

— Старый баринъ пришли!

Всѣ смутились и встали изъ за стола.

Служанка быстро убрала приборъ Маруси, и вообще старалась изгладить слѣды нашего присутствія за обѣдомъ. Впопыхахъ она убрала и мой приборъ.

Я глядѣлъ съ изумленіемъ, ничего не понимая.

— Отецъ не знаетъ... не долженъ знать о ней! сквозь зубы объяснилъ мнѣ Комарскій.— Уходи, Маруся! А зачѣмъ ты убрала приборъ Ивана Николаевича? раздражаясь на прислугу, замѣтилъ мой пріятель.— Оставайся, Иванъ! Куда же ты?

Но я ушелъ вмѣстѣ съ Маріею Ильинишною. Протестъ былъ ничтожный, но... все-таки протестъ противъ того, что я считалъ пошлостью, трусостью и оскорбленіемъ любящаго существа.

Отецъ и сынъ громко разсуждали о чемъ-то въ столовой, и я слышалъ, они даже дружно смѣялись, а мы съ Марусею, ушли въ ея скромную маленькую комнатку и сидѣли молча, не имѣя силъ начать бесѣду.

— И долго еще будетъ продолжаться подобная пытка? наконецъ спросилъ я.

Маруся не поняла меня. Она думала, что я говорю о нашемъ пребываніи въ тѣсной комнаткѣ, и взглянула на меня, какъ испуганный звѣрекъ.

— Вы хотите туда идти! Погодите... Я не знаю, о чемъ они сегодня разсуждаютъ... Надняхъ онъ приходилъ уговаривать сына жениться. На богатой... красивой. Протекція у нея хорошая... Но Миша отказался! Да! Да! На-отрѣзъ отказался! съ гордостью добавила Маруся.— Онъ ни за что...

Изъ столовой донесся взрывъ смѣха, и молодая женщина не окончила своей фразы. Тревожная мысль мелькнула въ ея глазахъ, и Маруся поникла головою.

III.

Я сталъ хвалить Комарскаго, говорилъ объ его честности, правдивости, и хотя слова мои звучали далеко не убѣжденно—я видѣлъ, какъ радостно загорались ея милые, чистые глаза.

— Вы, значить, все знаете, прошептала она, краснѣя.— Онъ вамъ сказалъ! Да, я не боюсь... я вѣрю въ Мишу, только... Ахъ, тяжела какъ

подобная жизнь! Вотъ въ романахъ воспѣваютъ любовь... самопожертвованіе во имя чувства, а въ дѣйствительности... Я ничего дурнаго, кажется, не дѣлаю, живу скромно, тихо, а между тѣмъ даже прислуга нарываетъ оскорбить меня. За что?

— Это—проклятые вопросы, Марья Ильинишна, и ихъ никто не можетъ рѣшить. Нельзя идти противъ общественныхъ традицій. Скажите, отчего вы не настаите на бракѣ?

— Мнѣ? Просить Мишу? О, что вы, что вы! Онъ лучше меня знаетъ, какъ поступать. Теперь у Миши нѣтъ средствъ. Онъ говоритъ, что женатому человѣку надо имѣть вдвое больше. Тогда надо будетъ и гостей принимать, тогда и меня станутъ приглашать въ гости. Тогда можно будетъ не прятаться отъ людей.

И не подозрѣвая, что развѣнчиваетъ въ моихъ глазахъ любимаго ею Мишу, молодая женщина передавала мнѣ различные факты изъ ихъ полу-семейной жизни,—факты, заставлявшіе меня ужасаться передъ эгоизмомъ интеллигентнаго и любящаго человѣка.

Маруся нигдѣ не бывала; Маруся вѣчно сидѣла дома, только по вечерамъ выходя прогуляться съ Мишею, но и то по самымъ уединеннымъ улицамъ. Отъ знакомыхъ Комарскаго она должна была скрываться; ея знакомые сами не приходили, такъ какъ порицали ея поступокъ... Пока Маруся безумно любила Мишу, и находила

счастье въ его чувствѣ, но... на долго-ли хватить у нея силъ вести такую замкнутую жизнь!

Въ тотъ же вечеръ я долго толковалъ съ Комарскимъ, убѣждая его поскорѣе жениться на Марусѣ и по человѣчески устроить свое существованіе, но Миша оставался строго логичнымъ и послѣдовательнымъ.

— Плодить нищихъ—считаю нечестнымъ. Жениться не имѣя средствъ, нелѣпо. Надо подождать. Если Маруся разлюбитъ меня, то пусть это случится лучше теперь, чѣмъ потомъ, а я своему слову не измѣню.

IV.

И Маруся не разлюбила.

Вскорѣ послѣ свиданія съ Комарскимъ, мнѣ пришлось уѣхать изъ Петербурга, и я совсѣмъ потерялъ изъ вида моихъ друзей.

На-дняхъ, въ театрѣ, я увидѣлъ въ ложѣ бель-этажа знакомую парочку, и обрадовался, какъ роднымъ.

Комарскій, посѣдѣвшій и степенно важный, сидѣлъ рядомъ въ Маріею Ильинишною, успѣвшею потускнѣть за эти долгіе годы.

Прежней красоты и граціи—какъ не бывало. Предо мною находилась сорока-лѣтняя дама въ

богатомъ костюмѣ, съ нарядною наколкою на головѣ, съ вѣромъ въ рукахъ. Она не торопливо, съ отѣнкомъ собственнаго достоинства, рассуждала съ собесѣдницею, находившеюся въ ихъ ложѣ, и я рѣшительно не узнавалъ прежнюю Марусю.

Комарскіе приняли меня очень радушно и любезно. Поговоривъ со мною, Михаилъ Петровичъ поручилъ мнѣ своихъ дамъ, а самъ отправился покурить. Марія Ильинишна увлекла меня въ аванъ-ложу, и поспѣшно, какъ челоуѣкъ, желающій сообщить важное и пріятное извѣстіе, шепнула мнѣ:

— А мы... обвѣнчались!

И вдругъ, вспомнивъ вѣроятно тѣ сцены, свидѣтелемъ которыхъ я бывалъ, Марья Ильинишна съежилась и застыдилась. Я видѣлъ, что она покраснѣла.

— Поздравляю васъ! Отъ души поздравляю! И давно случилось это... событіе?

— Да... давно... Съ годъ! добавила она, оглядываясь и понижая голосъ.

Я понималъ ея душевное состояніе, ея горькую радость, и мнѣ было безгранично жаль бѣдную женщину.

Слушая хвастливые рассказы Марьи Ильинишны о социальномъ положеніи ея мужа, о тѣхъ средствахъ, которыми они пользуются, о томъ кружкѣ, въ которомъ она вращается теперь, какъ равноправная, мнѣ становилось больно за

безрадостную юность Маруси, за ея безцвѣтное существованіе, за долгіе годы искуса... Счастье, блѣдное, худосочное счастье, озарило ея путь, но какъ поздно оно явилось...

Исчезла молодость, потухла любовь, и только тогда, накопивъ денегъ, рѣшился Комарскій исполнить данное слово.

А Маруся все ждала, ждала и дождалась...

Черезъ день я снова столкнулся съ Комарскимъ въ корридорѣ ресторана, возлѣ отдѣльных кабинетовъ. Онъ шелъ подъ руку съ хорошенькою и шикарною женщиною, весело смѣявшеюся и болтавшею какой-то вздоръ.

— Пожалуйста, не говори моей женѣ, что ты меня встрѣтилъ! замѣтилъ Комарскій, пожимая мнѣ руку. — Я исполнилъ свой долгъ, ты знаешь, но похоронить себя не намѣренъ.

Они женились! О, какъ поздно случилось это событіе! Соединивъ русское легкомысліе съ нѣмецкою аккуратностью, они сами отняли у себя счастье. Они хоронили себя, когда нужно было жить, и начинали новую жизнь, кода смерть стучалась въ окно...

ПОСЛѢДНІЯ РУКОПЛЕСКАНІЯ.

(Эскизъ.)



I.

Онъ отказывалъ себѣ въ удобствахъ жизни, въ хорошей одеждѣ, даже въ болѣе сытной пищѣ, и какъ скряга, копилъ деньги.

Надъ нимъ смѣялись въ томъ маленькомъ уѣздномъ городкѣ, куда его забросила судьба, его называли психопатомъ и безумцемъ, про него рассказывали самыя забавныя исторіи, но онъ не обращалъ вниманія на людскіе толки.

Онъ вѣрилъ въ будущее и ждалъ.

«Правду не съѣшь, таланта не сломишь!» твердилъ онъ постоянно, въ самыя тягостныя минуты жизни, и въ этой увѣренности черпалъ новыя силы для борьбы съ обстоятельствами.

А борьба выпала ему на долю не шуточная. Нѣсколько лѣтъ назадъ, Егоръ Андреевичъ Калининъ бросилъ хорошее служебное положеніе, рѣзко разорвалъ связь съ богатымъ дядею, и заявилъ, что поступаетъ на сцену.

Въ то время актероманія еще не успѣла такъ охватить общество, какъ теперь, и въ томъ круж-

кѣ, въ которомъ вращался Калининъ, рѣшеніе молодаго человѣка возбудило всеобщее порицаніе.

Егоръ Андреевичъ сыгралъ двѣ-три маленькія рольки, и не выказавъ особеннаго таланта, увлекся сценическою карьерою, вообразивъ, что желать—значитъ достигнуть.

— Если ты не выкинешь изъ головы эту глупость, я тебѣ гроша не дамъ! И наслѣдства лишу! гнѣвно говорилъ дядя.

— Бросать службу, когда вы такъ хорошо идете. Подумайте прежде, чѣмъ рѣшаться! совѣтовали товарищи.

— Съ хлѣба, да на голодъ... была охота! возражали Калининѣ люди, испытавшіе прелесть актерской нужды.

Но Егоръ Андреевичъ никому и ни чему не вѣрилъ.

«Если у меня есть такое страстное, непреодолимое желаніе, значитъ это—талантъ, рѣшилъ онъ.—Надо работать, надо всецѣло отдаться дѣлу, и тогда... О, да они всѣ, всѣ поклонятся мнѣ: признають, поймутъ, какъ я былъ правъ!»

Хорошенькая кузина, Веточка, игравшая въ любовь съ Калининѣмъ, даже разсердилась, услыхавъ, что Жоржъ, давнымъ-давно, окончившій учиться, вновь собирается «проходить какіе-то курсы» и являться на «репетиціи».

Она увлекалась пѣвцомъ итальянской оперы, молодымъ теноромъ, и если бы Жоржъ сказалъ, что тоже сдѣлается теноромъ, то она благосло-

вила бы его, и пожалуй, тайкомъ конечно, даже поцѣловала.

Но кузень собирался сдѣлаться «русскимъ актеромъ», — актеромъ, играющимъ все какія-то скучныя пьесы. Русскихъ актеровъ нельзя пу-скать въ хорошее общество, такъ она слышала... Они очень громко спорять, кричатъ, и главное—слишкомъ любятъ вино.

Словомъ, долголѣтняя, шаловливо-бокетливая любовь не устояла передъ ужасомъ, возбужденнымъ преступленіемъ Жоржа.

За Веточкою ухаживалъ толстый полковникъ, обладатель порядочнаго состоянія, и проступокъ Жоржа случился какъ разъ во время, чтобы молодая дѣвушка имѣла право поссориться съ кузеномъ.

— Вы огорчили вашего дядю, Жоржъ! Я на васъ сержусь... я... я возмущена!

— Веточка, милая, талантъ у меня!

— Вашъ дядя столько о васъ заботился. Онъ считалъ васъ своимъ наслѣдникомъ, а теперь...

— У меня талантъ, Веточка... Та-лантъ, поймите это! Я самъ заработаю себѣ огромное состояніе.

Но Веточка не поняла, не повѣрила и не захотѣла ждать. Полковникъ догадался сдѣлать предложеніе, и хорошенькая, милая Веточка стала его женою.

«Я заставлю ее пожалѣть, что она такъ поступила! думалъ Жоржъ.—Я заставлю ее стра-

дать, и со временемъ, когда мое имя будетъ пользоваться славою, я оттолкну ее!»

II.

Калининъ уѣхалъ въ провинцію и поступилъ къ одному изъ антрепренеровъ, извѣстныхъ любовью къ дѣлу и добросовѣстнымъ отношеніемъ къ актерамъ.

Замѣтивъ въ молодомъ человѣкѣ талантъ, онъ давалъ ему средства развиваться, но людей, поступавшихъ на сцену отъ нечего дѣлать, или съ цѣлями инаго свойства, спѣшилъ удалить изъ своей труппы, боясь нравственной заразы.

Въ Калининѣ онъ разочаровался крайне быстро. Жоржъ ропталъ, что ему даютъ маленькія роли, совсѣмъ не училъ ихъ, не работалъ, и жаждалъ выступать въ крупныхъ роляхъ, обвиняя антрепренера въ зависти.

Промаявшись съ Калининымъ цѣлый сезонъ, антрепренеръ Волковъ рѣшился избавиться отъ него.

Произошла трогательная сцена.

— Послушайте, Жоржикъ, сказалъ ему Волковъ, особенно ласково похлопавъ его по плечу, — съ вами контракта я заключать не могу.

— Не... не можете? блѣднѣя переспросилъ Калининъ. — Но отчего же?

— А вотъ отчего, голубчикъ. На маленькія роли назначать васъ мнѣ жалко, а на серьезныя—у васъ репертуара нѣтъ. Позаймитесь въ годикъ, приготовьте нѣсколько пьесъ, и тогда или у меня, или даже въ столицѣ дебютируйте. Другой совсѣмъ табакъ выйдетъ!

Эта мысль показалась Жоржу крайне удачною. Онъ тутъ же сталъ высказывать, какія роли будетъ онъ готовить, въ чемъ выступить, и горячо благодарилъ Волкова, начинавшаго стыдиться своего поступка.

Онъ хотѣлъ только позолотить пилюлю, такъ какъ обижать Жоржика ему было жаль, а тотъ пылко схватился за эту мысль, видя въ ней дружескій совѣтъ опытнаго человѣка.

Когда Калининъ разставался съ товарищами, актеры устроили вечеринку. Всѣ они полюбили бѣднягу-неудачника, выбитаго изъ колеи и обманувшагося въ своихъ ожиданіяхъ.

Жоржикъ былъ огорченъ и печаленъ. Его прельщала актерская жизнь, ему былъ дорогъ самый запахъ кулисъ, а между тѣмъ, чтобы приготовить себѣ репертуаръ, ему пришлось взять ничтожное мѣсто въ уѣздномъ городишкѣ, и жить мечтами о будущемъ.

За ужиномъ въ прощальный вечеръ говорились рѣчи, и добрые товарищи, желавшіе утѣшить Жоржика, щедро хвалили его и пророчили ему успѣхъ.

Калининъ блаженствовалъ. Онъ вѣрилъ ихъ словамъ, онъ видѣлъ себя признаннымъ, и со слезами восторга благодарилъ друзей и приятельницъ.

Прощаясь съ режиссеромъ, чаще всего бывшимъ неспособнаго актера, Жоржикъ спросилъ его задумчивымъ, дрожащимъ голосомъ:

— Скажите, голубчикъ... Вотъ, всѣ товарищи такъ лестно отнеслись ко мнѣ, хвалятъ, одобряютъ. Но я хотѣлъ бы васъ спросить... Скажите, есть у меня талантъ?

Режиссеръ поглядѣлъ на него, прищурился, и нечесавъ затылокъ, отвѣчалъ съ усмѣшкою:

— Талантъ? Ба-а-льшой талантъ!

Жоржикъ не замѣтилъ, что всѣ улыгнулись. Могъ-ли онъ думать, что эти грубоватые люди, жалѣя его, говорятъ неправду!

Только много позднѣе догадался онъ, отчего далеко не всѣ участвовали на прощальномъ ужинѣ, отчего избѣгали нѣкоторые отвѣчать на его вопросы...

III.

Уселившись въ Энскѣ, Калининъ сталъ ревностно исполнять служебныя обязанности, а по вечерамъ готовилъ роли.

Онъ берегъ каждую копѣйку, рассчитывая, что ему будутъ нужны деньги для устройства

дебюта въ столицѣ, и какъ влюбленный о свиданіи, мечталъ объ этомъ знаменательномъ днѣ.

Прошло около года, долгаго, скучнаго года, въ теченіи котораго Жоржикъ успѣлъ скопить, триста рублей и, прекрасно, какъ ему казалось, приготовить двѣ роли: Чацкаго и Уріеля Акосты.

Эти два типа какъ бы являлись пограничными линіями, опредѣляющими его талантъ, и Жоржикъ уже мечталъ, какое потрясающее впечатлѣніе произведетъ онъ своею игрою, какъ горько раскаются и Веточка, и суровый дядя, и тѣ знакомые, что порицали его поступокъ.

Сидя въ вагонѣ третьяго класса, Калининъ еще за пятьдесятъ верстъ до Петербурга началъ выглядывать изъ окна, желая какъ можно скорѣе очутиться въ родномъ городѣ.

Проѣзжая мимо Александринскаго театра, онъ глядѣлъ на мрачное зданіе побѣдоноснымъ взоромъ, и представлялъ себѣ, какъ завоюетъ толпу, переполняющую залу, какой громаднѣйшій успѣхъ будетъ онъ имѣть въ роли Уріеля Акосты...

Самыя сладостныя мечты ласкали его воображеніе. Онъ даже представлялъ себѣ, что скажутъ газеты, какъ станутъ привѣтствовать его истинные любители искусства.

Остановившись въ гостинницѣ и купивъ себѣ новое платье, Калининъ побѣждалъ розыскивать товарищѣй по ремеслу.

Ему пришлось услышать самыя печальныя новости.

Дебюты на сценѣ Александринскаго театра не даютъ никому. Кадры артистовъ пополняются учениками театральной школы, которая поставлена теперь хорошо.

Калининъ даже разсердился.

— Умно какъ! возмущался онъ. — Значить, появишься теперь какой-нибудь Мочаловъ, такъ ему и ходу не дадутъ?

— Ну, нѣтъ у насъ что-то новыхъ Мочаловыхъ, а старые-то повымерли, или на службѣ состоятъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! При этакихъ порядкахъ не откуда имъ и взяться. Дорогу вы имъ загромождаете. Столько надо истратить силъ на преодоленіе препятствій, что на самую-то работу и энергіи не хватаетъ.

— Пошло... поѣхало! махнувъ рукою, замѣтилъ пріятель, успѣвшій основаться на тепломъ мѣстѣ, и потому громогласно порицавшій всѣхъ недовольныхъ. — Хочешь показать свой талантъ, — въ клубъ играй. Не все равно?!

Калининъ оцѣнилъ дружескій совѣтъ, и бросился къ клубнымъ антрепренерамъ, но и здѣсь его ожидала неудача.

У всѣхъ были свои актеры, и для новичка не находилось мѣста.

Одинъ изъ артистовъ, однако, сжалился надъ Жоржикомъ. Въ свой бенефисъ онъ ставилъ «Горе отъ ума», и уступилъ мольбамъ Калинина «продать» ему право сыграть роль Чацкаго за пятьдесятъ рублей.

— Наконецъ-то! Добился! восхищался Жоржикъ, цѣлые часы проводя передъ зеркаломъ и повторяя боевые монологи.

Кромѣ пятидесяти рублей, истраченныхъ на покупку права играть, Жоржикъ купилъ на сто двадцать рублей билетовъ и разослалъ ихъ не только рецензентамъ, но и всѣмъ роднымъ своимъ и старымъ знакомымъ, прося пожаловать на его «негласный дебютъ».

И дѣйствительно, въ день спектакля въ клубной залѣ появилась совершенно новая, непривычная публика. Тутъ были нарядныя и изящныя дамы, военные, сановитые старики и звѣздоносцы, съ любопытствомъ оглядывавшіеся вокругъ, и слегка смущающіеся, что очутились здѣсь.

Начался спектакль.

Появленіе Калинина, ни внѣшностью, ни манерами не подходившаго къ роли Чацкаго возбуждало удивленіе, даже смѣхъ.

Всѣ переглядывались, стараясь чѣмъ-либо оправдать странную смѣлость дебютанта, и самыя снисходительныя изъ зрителей говорили шепотомъ:

— Внѣшностью не подходитъ, но, можетъ быть, читка...

Безъ всякаго смущенія, гордо и увѣренно велъ Жоржикъ свою роль.

Всѣ слушали безсмертныя рѣчи и монологи, — слушали, и начинали ежиться отъ стыда за несчастнаго дебютанта.

Онъ даже не умѣлъ читать грамотно... Запаятыя висѣли гдѣ-то въ воздухѣ, точекъ онъ не признавалъ, роли не зналъ, и безсовѣстно прибавлялъ свои слова.

Актеры, имѣвшіе сцены съ Калининымъ, едва удерживались отъ негодованія или смѣха, смотря по темпераменту, но Жоржикъ, убѣжденный въ своемъ талантѣ, не смущался.

Послѣ перваго акта началось шипѣнье, но Калининъ не слыхалъ его; за то въ третьемъ, послѣ одного изъ лучшихъ монологовъ Чацкаго, зловѣщее шиканье раздалось со всѣхъ сторонъ.

Жоржикъ поблѣднѣлъ, и стиснувъ руки, стоялъ, прижавшись къ задней кулисѣ.

Лицо его выражало ужасъ и удивленіе.

Мимо проходили актеры и актрисы, бросавшіе на него гнѣвные, презрительные взгляды, или насмѣшливо улыбавшіеся.

— Скажите, прерывающимся голосомъ спросилъ Жоржикъ, обращаясь къ режиссеру,— что, здѣсь публика всегда такая... холодная... злая?

— Здѣсь? Публика? Самая снисходительная, какая только есть! Ха, ха, ученая! Ее удивить— много надобно:

Калининъ, шатаясь, пошелъ въ уборную. Актеръ— бенефициантъ, продавшій ему роль Чацкаго, гриммировался Репетиловымъ и сидѣлъ передъ зеркаломъ.

Увидѣвъ Жоржика и продолжая мазать себѣ лицо, онъ сказалъ ему черезъ плечо:

— Удружили! За такую игру, знаете-ли, по меломъ со сцены гоняють! Осрамили!

— Вы... вы... забываетесь!

— Осрамили вы меня! зычнымъ голосомъ продолжалъ актеръ.— Лапти вамъ плести, а не на сценѣ играть!

Трудно передать, съ какою мукою въ душѣ читалъ Калининъ послѣдніе монологи Чацкаго. Мысленно онъ рѣшилъ, что никогда больше не выступить на подмостки, но сегодня-то надо было доиграть... |||

Въ заключительныхъ словахъ Чацкаго Жоржикъ сумѣлъ наконецъ чуть-чуть затронуть слушателей, и всѣ они, точно обрадовавшись, что есть нравственное основаніе для одобренія, что хотя теперь можно похлопать дебютанту, и такъ сказать, поблагодарить за даровые билеты, стали рукоплескать...

Слезы стояли въ глазахъ Жоржика, и горькія, беззвучныя рыданія тѣснились въ груди, когда онъ выходилъ раскланиваться.

Это были послѣднія рукоплесканія, которыя ему суждено услышать, послѣднія... Съ завтрашняго дня, и уже навсегда, вѣроятно, наступитъ тоскливое, безцвѣтное существованіе, не озаренное никакими надеждами.

Въ первомъ ряду сидѣла Веточка съ мужемъ, и Калининъ видѣлъ, что молодая женщина рукоплескала и... смѣялась.

Въ этотъ вечеръ, конечно, она благославляла судьбу, что во время отвергла любовь Жоржика. Стыдиться за того, кого любишь — самый мучительный и горькій стыдь...



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Печатается и скоро выйдетъ въ свѣтъ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНІЙ

К. В. НАЗАРЪЕВОЙ.

Два тома, по 20—25 листовъ каждый.

Цена за оба тома 5 р.

Подписываться можно въ конторѣ типографіи Войцицкаго
и Корнатовскаго, Малая Морская, 9.

(Подписавшіеся и вносящіе деньги при подпискѣ,
пользуются уступкою 20%)

СОДЕРЖАНІЕ ДВУХЪ ТОМОВЪ.

(просмотровое и исправленное авторомъ)

- 1) Актриса, ром.; 2) Бонна, пов.; 3) Конторщица,
ром.; 4) Папиросница, пов.; 5) Специалистъ, пов.;
- 6) По расчету, пов.; 7) Пустовѣтъ, пов.; 8) Мертвая
зыбь, ром.; 9) Волкъ въ овечьей шкурѣ, пов.;
- 10) Тревожное счастье, ром.; 11) По новому, ром.;
- 12) Сценическая иллюзия, и мн. др.

690
1891

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA

ОТДЕЛ ВНЕШНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
DEPARTMENT OF EXTERNAL SERVICE

191069, РОССИЯ, С.-Петербург, Садовая ул., 18
18, Sadovaya st., St.Petersburg, 191069, RUSSIA

КОНЕЦ
END

**END OF REEL
PLEASE
REWIND**